



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [Е. Н. Орлов](#)
 -
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ИСТОЧНИКИ:](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
-

Е. Н. Орлов

**Сократ. Его жизнь и философская
деятельность**

*Биографический очерк Е. Н. Орлова
С изображением бюста Сократа*



ГЛАВА I

Место Сократа в ряду великих личностей истории. – Его рождение и первоначальное образование. – Общественные влияния – политические и эстетические. – Вступление на философское поприще. – Его бедность и отношение к вопросу о насущном хлебе. – Его жена и отношение ее к Сократу. – Взгляд философа на софистов и денежные отношения между учителем и учениками. – Сенсационная внешность и манеры Сократа. – Обаяние его речей и личности. – Интеллектуальные его особенности. – Нравственные качества. – Довольствование малым и отсутствие аскетизма. – Взгляд на наслаждения и страдания. – Самообладание. – Мужество. – Цельность и исключительность его натуры. – Его “демон”

Среди всех великих личностей, которыми так богата была древняя Греция, вряд ли найдется одна, чье имя было бы более популярно, нежели имя Сократа. Почти 23 века промчалось с того момента, когда в тюремной келье, чуть-чуть озаренной догорающими лучами солнца, скончался афинский мудрец, ясный и спокойный, как летний вечер. Человечество с тех пор успело пройти длинный и тернистый путь, полный борьбы и увлечений, горя и радостей, поражений и торжества. Народы приходили и уходили, государства слагались и разрушались, и новые идеалы и новые интересы сменялись как в калейдоскопе, то появляясь на горизонте исторической жизни, то исчезая во мраке прошлого. Но ни эта бесконечная смена событий, ни даже вся длинная вереница великих мыслителей и поэтов, ученых и художников, общественных деятелей и моралистов, царивших над умами целых поколений, не могли ни на минуту заслонить от взоров человечества удивительный образ Сократа. Беспрецедентная чистота его нравственного облика, чисто эллинское единство его учения и жизни и полная гармоничность его поступков с мотивами, – все это сплетается в нем в одно неразрывное целое, подобно тем многообразным цветам, которые составляют солнечный луч. Биография, конечно, не панегирик, и действительно, нам придется указать на некоторые крупные недостатки в его учении и мирозерцании; но мы напрасно стали бы искать во всей галерее замечательных личностей истории другую, которая в нравственном отношении была бы так совершенна, как Сократ.

Сократ был сын Софрониска, бедного афинского ремесленника-

ваятеля, и Фэнареты, повивальной бабки, которая была уже раз замужем до того и имела от первого брака сына Патрокла. Предание, в правдивости которого у нас нет основания сомневаться, уверяет нас, что род Софрониска был весьма древний и знатный и восходил к Дедалу, которому греческая мифология приписывала утверждение в Афинах различных искусств и ремесел и чей сын Икар сделал безумную попытку подняться на восковых крыльях к солнцу и стал через это олицетворением тщеты человеческих стремлений к божественному идеалу. Что Сократ родился в Афинах, – в этом нет никакого сомнения; но сам год рождения его до сих пор остался невыясненным. Одни полагают, что он увидел свет в 471 году до Р. Х., другие, – что в 469 году, а третьи утверждают даже, что в 468-м. Вторая из этих дат, однако, наиболее вероятна, так как в своей речи на суде, то есть в 399 году, Сократ, если верить Платону, заявлял, что он – 70-летний старик. Вообще же, первая половина его жизни – до вступления на поприще философской деятельности – нам мало известна, и только при помощи посторонних данных мы в состоянии кое-как дополнить наши скудные сведения об этом периоде Сократовой жизни. Так, например, мы почти ничего не знаем из того, чему и как он учился: мы лишь можем делать некоторые догадки на основании дошедших до нас сведений о положении образования в древних Афинах вообще. Семи лет, вероятно, он стал посещать школу, так как начальное образование было тогда для всех обязательное и начиналось именно с этого возраста. Из истории Греции мы знаем, чему там учились: чтение, письмо и немного арифметики составляли единственные научные предметы тогдашних школьных программ; ни языки, ни география, ни история, ни естествознание, ни другие подобные отрасли знания, входящие в круг современного образования, тогда еще не существовали, а потому не могли и преподаваться. Вместо этого греческие мальчики и юноши обучались двум вещам, теперь почти совершенно изгнанным из программ наших общеобразовательных учебных заведений, – а именно: гимнастике и музыке. Древние общины не знали ни постоянных армий, ни подразделения народа на сословия гражданское и военное. Каждый член их так же свободно владел мечом или луком, как и плугом, и должен был ежеминутно быть наготове выступить в поход и защищать свое отечество с оружием в руках. Телесные упражнения поэтому везде в Древнем мире играли большую роль: это был предмет государственной необходимости; но еще большую роль они играли в Греции, – Спарте и Афинах, – где военное дело было поднято до степени искусства. Малочисленные, но стройные и дисциплинированные армии этих городов разбили наголову

несметные, но дикие полчища персов, и этим они немало были обязаны своей научной системе гимнастики.

Музыка также имела значение более широкое, нежели теперь: она была не только одним из изящных искусств, способствующих всестороннему культурному развитию личности, но и учреждением общественной важности. Она была тесно связана со всей религиозно-нравственной системой, на которой покоилось греческое общество, и под ней подразумевалось не только пение и игра на инструменте, но и чтение и заучивание наизусть стихов из национальных поэтов, таких, как Гомер и Гесиод, – этих несокрушимых и чуть ли не главных авторитетов в области религии и морали. В сферу музыки входила также и пляска, которою сопровождалась религиозные и другие процессии, занимавшие столь важное место в общественной жизни Греции.

Всему этому, стало быть, должен был обучаться и Сократ, но, конечно, было бы печально, если бы образование его ограничилось одним этим. Плутарх, – или, скорее, псевдо-Плутарх – передает нам, что богатый Критон, впоследствии ученик и друг Сократа, встретившись с последним, тогда еще юношею, был так поражен его умом и дарованиями, что взял его из отцовской мастерской и послал за свой счет к лучшим учителям того времени. Достоверность этого рассказа, по хронологическим и другим соображениям, справедливо оспаривается; но тот факт, что Сократ еще в юные годы ходил слушать выдающихся философов и изучать под их руководством все высшие области тогдашнего знания, весьма вероятен. Он был довольно хорошо знаком с геометрией и астрономией и имел сносные знания по философии в системах Парменида, Гераклита, Демокрита, Анаксагора и Эмпедокла. Предпоследний даже, говорят, был его учителем, но насколько это верно, мы не беремся судить. Во всяком случае, ни этот философ, ни другие не сыграли в развитии Сократа большой роли. Греческая жизнь, как мы это увидим ниже, уже оставила далеко позади космофизические умозрения старых мыслителей, и Сократ напрасно искал у них ответа на возникшие в его голове вопросы. Он не нашел удовлетворения ни в одной из существовавших тогда школ и одинаково отрицательно относился и к Гераклиту, и к Демокриту, и к Пармениду, и к Эмпедоклу, считая их всех мечтателями, даром потратившими свои силы на предметы, недоступные нашему познанию и маловажные по своему практическому значению. Сократа воспитала сама жизнь: это была та школа, которая заменила ему всякую теоретическую подготовку и умственную дисциплину, столь важные в большинстве других случаев. То был один из самых замечательных моментов в истории европейского

человечества. Персидские войны только что окончились, и Восток отступил перед объединенными силами Эллады, тогда впервые сознавшей свое расовое единство и общность своей культуры. Громадный подъем национального духа был непосредственным результатом этого создания, и одновременно с коренным переворотом в области экономических, политических и нравственных отношений страны последовал тот взрыв благороднейших эмоций и идей, который вызвал в свет беспримерный в истории расцвет поэзии и искусства во всех их формах. Читатель, любопытствующий поближе познакомиться с этой замечательной эпохой, должен обратиться к всеобщим историям Греции; здесь же мы можем лишь указать на те черты в условиях жизни того времени, которые не могли не иметь громадного *воспитательного* значения для развития Сократовой личности. Она стала слагаться в период, непосредственно следовавший за периодом освободительных войн: победоносный отголосок их не успел еще умолкнуть, и на подмостках жизни все еще подвизались герои незабвенных Марафона и Саламина. Афинам, родине Сократа, суждено было принять особенно деятельное участие в борьбе за национальное существование, и на них-то поэтому с наибольшей силою отразились все перемены, теперь происшедшие. Они достигли кульминационного пункта в своем политическом и гражданском развитии: все политическое здание сверху донизу было перестроено согласно требованиям новой жизни. За каждым свободным членом афинской общины был обеспечен максимум прав личных и гражданских, и, что не менее важно, пользование этими правами вменялось общественным мнением в обязанность каждому. Древние общества не знали принципа представительства, а считали за необходимое условие нормальной политической жизни и за единственную гарантию своей свободы личное участие граждан в отправлении политических функций. Сам державный народ в своей коллективной личности являлся законодателем, судьей и администратором, и нигде теория не реализовалась с большей полнотой, чем в Афинах. Народное собрание – агора – было высшим политическим органом страны: оно избирало должностных лиц, обсуждало внешнюю и внутреннюю политику, постановляло бюджет, издавало законы, отправляло правосудие и имело верховный надзор за администрацией, религией и общественной нравственностью. Такого рода политическая жизнь, естественно, являлась могучим фактором в развитии не только общественных инстинктов, но и целого ряда моральных и интеллектуальных качеств, вырастающих лишь на почве свободных гражданских отношений.

Но и помимо социальных влияний, афинская жизнь представляла

столько стимулов, как ни одна историческая обстановка другого какого-нибудь народа. Эллинская культура достигла своего зенита. Искусство – пластика, живопись, поэзия и драма – сбросило стеснявшие его архаические формы и условности и предстало во всей красоте и грации идеализированной природы. Акрополь украсился благороднейшими произведениями человеческого гения в области архитектуры и скульптуры, а на подмостках народных театров происходили музыкальные и поэтические состязания и ставились бессмертные драмы Эсхила и Софокла. На площадях, рынках и улицах, под величественными портиками или под открытым небом, сверкающим южной синевою, собирались группы горожан и раздавались оживленные и меткие разговоры о высочайших проблемах жизни и искусства. Все кипело избытком сил, интеллектуальных и физических, идеи сталкивались и скрещивались, мнения сходились и шлифовались, и вся духовная жизнь билась ускоренным и горячим пульсом.

В такой среде вырос Сократ, и можно смело утверждать, что лучшей воспитательной обстановки было бы трудно желать. Он унаследовал от отца его ремесло, и вплоть до II века Р. Х. по дороге к Акрополю иностранцам показывали группу одетых в покрывала Харит (граций), которая приписывалась Сократу. У нас, в настоящее время, нет никакой возможности решить, в самом ли деле эта группа была его работой, но мы тем не менее вправе усомниться в этом, встречая многочисленные заверения, что он оставил свое ремесло рано и, по-видимому, никогда не чувствовал большой любви к нему. Что заставило его решиться на этот шаг, мы также не знаем. Сомнительные авторитеты передают, что 25 лет от роду он встретил Протагора, знаменитого философа того времени, который своими речами и идеями произвел такое сильное впечатление на его восприимчивую натуру, что Сократ решил посвятить себя исключительно философии. Особенно невероятного в этом ничего нет, как нет его в другом предании, приписывающем решающее значение для мысли Сократа встрече его с Аспазией. Мы можем лишь оспаривать – что мы и делаем – факт *личного* влияния этих выдающихся фигур на Сократово мирозерцание и судьбу, но никак не их посредствующую роль в качестве представителей и основателей особых течений в афинской жизни и мысли той эпохи. Как мы это увидим ниже, Сократова философия была законным детищем своего времени, а потому являлась крестницей и Протагора, и Аспазии, и Продикка, и многих других великих деятелей, которым Сократ мог быть обязан своим развитием и без личного знакомства с ними. Как бы то ни было, Сократ довольно рано почувствовал стремление к философской

деятельности, но только после долгой, почти 15-летней работы мысли, – о которой, к сожалению, до нас не дошло никаких сведений, – он решился вступить на публичное поприще в качестве учителя философии. Это не значит, конечно, что все эти годы он провел в совершенном уединении и неизвестности, разрабатывая свое мирозерцание, а затем, подобно Афине-Палладе, выскочившей в полном вооружении из головы Зевса, явился в одно прекрасное утро на городскую агору с готовою и стройною системою идей. Дело, вероятно, обстояло так, что, не бросая еще своей профессия, он все больше и чаще занимался проблемами философии, то раздумывая над ними за работою, то в свободное время делаясь своими мыслями с друзьями. Так дело продолжалось, быть может, целые годы, но по мере того, как взгляды его прояснялись и определялись, подобно очертаниям материка среди спадающей воды, он все чаще осмеливался выходить на площадь, затрагивать разглагольствующих там риторов, диспутировать с ними и излагать свои мнения, свои идеи. Он все яснее и яснее начинал сознавать свое превосходство над соперниками, успех стимулировал его мысль и рвение, он становился популярен, его окружала толпа, – и, наконец бросив окончательно свое ремесло, он совершенно отдается своей новой деятельности. С тех пор он уже более не принадлежит себе, и к 430-му году, когда Сократу было уже около 40 лет, мы застаем его на том посту, на котором он геройски простоял до самого момента своей смерти. Во имя этой деятельности он забыл все и вся: и семью, и заботу о насущном хлебе, и ремесло, и политику. Он был беден: предание о том, что отец оставил ему землю и 80 мин деньгами (мина – 40 руб.), которые он отдавал в рост, мы можем, не колеблясь, причислить к клевете, которую так усердно распространяли после его смерти эпикурейцы и другие философские и политические его противники. Мы имеем точное свидетельство Ксенофонта, человека, который особенно близко стоял к философу, что все его имущество, недвижимое и движимое, вряд ли стоило больше пяти мин; да и сам Сократ с трогательной простотою заявляет на суде: “Моя работа так поглощает меня, что у меня нет времени ни заниматься вопросами политики, ни заботиться о своем материальном благосостоянии. Я – нищий благодаря моей покорности велениям Божества”.

Само собою разумеется, что такое отношение к “земным благам” не проходило ему даром. Судьба наградила его женою, вульгарность и сварливость которой доставили ей такую же громкую репутацию, как супружеские добродетели другой греческой женщине – Пенелопе. То была знаменитая Ксантиппа, ставшая притчей во языцех уже тогда и

продолжающая быть таковою и поныне. Говорили, что у Сократа была еще одна жена – некая Миртона, дочь или внучка Аристиды: по одним источникам, философ был женат на ней до Ксантиппы, по другим – после нее, а по третьим – даже одновременно с нею; но предание это – столь очевидная нелепость, что новейшие биографы даже и не упоминают о нем. Во всяком случае, был ли женат Сократ однажды или дважды, или больше, – роль в его судьбе сыграла одна – бессмертная Ксантиппа. Как и многим другим женщинам в ее положении, ей тяжело было видеть, как муж во имя каких-то завиральных идей и понятных для нее, как китайская грамота, идеалов махнул рукой на хозяйство и семью, проводя целые дни на улицах в “бесплодных” разговорах и оставляя ее с тремя детьми не только без средств, но часто и без куска хлеба. Ее еще больше бесило, когда она видела других подобных ему “болтунов” богатеющими день ото дня, в то время, как ее Сократ, ходивший в заплатанном хитоне, с гордостью идалго отказывался от подарков и помощи, которые ему так часто и так деликатно предлагались людьми различных положений – от Архелая, царя македонского, до собственных его учеников. Естественно, что она ему часто устраивала такие сцены, что он должен был бежать из дому, утешаясь лишь тем, что, перенося эти испытания, он приучается тем переносить другие, еще большие. Раз даже, говорят, она в сердцах облила его ушатом помоев, но философ только утерся, добродушно приговаривая, что такой катастрофы как раз и следовало ожидать, так как после грома всегда бывает дождь. Словом, Ксантиппа была в полном смысле этого слова “дома с мужем сатана”, но, к сожалению, она далеко не была ангелом и при людях: она не раз выгоняла из дому его учеников и друзей, осыпая их самой отборной бранью, на какую только способна вульгарная женщина. При всем том, мы не станем на нее негодовать, как это принято делать; напротив, мы отдадим ей полную справедливость за ее несомненную, хотя и своеобразную, любовь к мужу и детям, заботы о которых, быть может, занимали в ее уме больше места, нежели мысль о самой себе. Ксантиппа, в сущности, не была злой: она лишь не понимала Сократа и, не видя материальных, то есть денежных результатов его деятельности, естественно, восставала со всею силою своей узкой души против его “беспорядочного” образа жизни. Но в самом ли деле это уж такое крупное и – главное – редкое преступление, как на это принято смотреть? Несомненно, она не была идеальной женою – любящим другом и товарищем, соучастницей в работе мужа и прочее, и прочее; но много ли таких идеальных жен найдется теперь? Нынче мужей редко обливают грязною водою, но непонимание, равнодушие или черствость царят в

настоящее время с такою же силою, как и прежде, и смотреть на Ксантиппу как на какое-то чуть ли не чудовище, по крайней мере, лицемерие.

С другой стороны, было бы странно, чтобы не сказать больше, упрекать Сократа за его небрежное отношение к жене и детям, как то делают некоторые биографы в своем рвении реабилитировать погрязшие репутации вроде Ксантипповой. Без сомнения, Сократ не был образцовым семьянином, но он был образцовым человеком, – а одно вполне стоило другого. Очень может быть, что, оставаясь при своем ремесле, он сумел бы довольно сносно примирить интересы семьи с требованиями долга перед обществом; но раз сознание этого долга настолько заполонило его ум, что оттеснило на задний план все прочее, даже благополучие его собственное и родных ему лиц, то нам следует скорее удивляться бескорыстию и благородству Сократа, нежели осуждать его равнодушие к требованиям практической жизни. Сделать же из своей деятельности карьеру или профессию, как то делали другие, или, по крайней мере, обставить ее так, чтобы она доставляла ему средства к жизни, было для него решительно невозможно: по его глубокому убеждению, взимание платы за преподавание или даже принятие добровольных подарков было одним из величайших актов безнравственности, какой только может совершить философ. Мы все знаем, какие страстные нападки со стороны Сократа, а еще больше Платона и Аристотеля, навлекали на себя так называемые софисты за то, что они взимали плату за слушание лекций и ставили ее непременным и предварительным условием допущения в число своих учеников. В наш век повторять стереотипные фразы о безнравственности, продажности и корыстолюбии софистов было бы верхом нелепости. Со времени Грота, – первого, кто осмелился поднять оружие в защиту этих людей, наши фарисейские причитания стали понемногу умолкать; но, с другой стороны, мы все же не должны упускать из виду той доли справедливости, которая заключалась в словах Сократа и Платона, когда они обвиняли софистов в торгашестве и бесстыдстве. Правда, в ту эпоху, о которой идет речь, экономические отношения Афин благодаря значительному разделению труда и системе рыночной отчуждаемости продуктов достигли такой сложности, что человек, отдававший все свои силы и время на преподавание философии, имел право, за неимением других средств к жизни, требовать от общества необходимой поддержки; но то именно обстоятельство, что за такой поддержкой ему приходилось обращаться к лицам, приходившим его слушать, и являлось нравственной аномалией в глазах идеальных жрецов философии; они смотрели на денежные отношения между учителем и учеником как на постыдную

торговлю священнейшим достоянием человеческой личности – его разумом и свободой. Обучать мудрости, то есть насаждать в сердца своих ближних нравственные идеалы и посвящать их в тайны природы и жизни, вменялось каждому человеку в долг, самый благородный и священный: отказаться от него или сделать его предметом купли и продажи казалось неслыханным преступлением. Что такого рода взгляды не были присущи одному Сократу и его последователям, а всему Древнему миру, где наемный труд в тех или других формах почти не существовал, мы видим, например, из того, что в Риме вплоть до I века Р. Х. адвокатский гонорар считался позорным; да и в наше время некоторые профессии, в частности врачебная или адвокатская, до сих пор сторонятся коммерческих сделок и не входят в круг рыночного спроса и предложения. Тем понятнее должно быть для нас негодование Сократа или Платона на софистов: явление было новое и казалось не лучшим, чем торговля телом какой-нибудь Федоры или Фрины. “Мы все знаем, Антифон, – говорит Сократ одному из своих друзей, – что мудростью, как и красотой, можно располагать двояко. Если женщина берет себе в друзья человека, которого она считает честным и хорошим, мы считаем ее также честной и хорошей; но если она продает свою красоту всякому, кто готов уплатить определенную цену, то мы называем ее проституткою. Точно так же и с мудростью: того, кто дружит с честным человеком и научает его всему тому хорошему, которое он знает сам, мы также называем честным человеком; но если кто, продает свою мудрость за деньги всякому, кто только готов ее купить, то он не что иное, как софист, – проститут философии”. Эти слова недвусмысленны, и было бы странно ожидать, чтобы Сократ, у которого, как ни у кого другого, слово и дело были органически связаны между собою, отступил от своих убеждений ввиду тех или иных практических соображений.

Итак, начиная со зрелого возраста, мы уже застаем Сократа подвизающимся в качестве учителя философии и нравственности. Как мы уже сказали, он никогда ничем другим не занимался – ни политическими, ни частными делами: последними он прямо пренебрегал, а первые считал менее важными, нежели те, которым он себя посвятил. Сократ почти никогда не выезжал из Афин: только раз отлучился он в поход, а другой – на Истмийские игры. Он не чувствовал влечения к природе и ее красотам, а предпочитал иметь дело с людьми, интересуясь ими не только как “документами”, но и как дорогими братьями, нуждающимися в умственном и нравственном просвещении. С раннего утра его можно было видеть на улице, у него не было определенного места и определенных собеседников для разговоров: он ходил куда попало: на рынок, на площадь, в какую-

нибудь школу, в ближайшую лавку или мастерскую, – словом, повсюду, где только мог встретить людей, интересующихся вопросами философии и этики. Его окружали ученики, и к ним скоро присоединялись поклонники, знакомые или просто любопытствующие зеваки, привлеченные странным зрелищем и странными речами. Одна фигура и манеры Сократа способны были произвести сенсацию в небольшом городке Афины – центре и фокусе античной цивилизации со всем ее блеском и лоском и поклонением формальной красоте. Низкого роста, лысый, с раздутым животом, толстой и короткой шеей, выпученными глазами, толстыми губами и вздернутыми ноздрями, Сократ казался живым сатиром, сорвавшимся с пьедестала и внезапно появившимся среди богов. Он не любил изящных приемов, которыми блистали прочие учителя философии, он говорил резко и отрывисто, не закругляя периодов и не украшая их риторическими фигурами. Его речи были речами простонародья с их безыскусственностью, прямою, грубоватостью и иллюстрациями из обыденной жизни. С первой минуты поэтому он не мог нравиться, и ничего, кроме смеха, его вид и слова не возбуждали в новичке; но стоило только кому-нибудь – случайному прохожему, замешавшемуся в толпе, – немного прислушаться, и улыбка сходила с его уст, и готовая насмешка застревала где-то глубоко в гортани: под этой непривлекательной словесной оболочкой он вдруг подмечал такую оригинальность мысли, такую смелость и широту идей, такую мощь логики, такую страсть – и все это подернуто неподражаемо тонкой иронией, – каких он не мог себе представить ни в одном человеке. Впечатление получалось огромное, и этот самый прохожий, который прежде натолкнулся на Сократа совершенно случайно, теперь отыщет его нарочно и станет в первые ряды толпы, чтобы поближе разглядеть это странное существо, чтобы не пропустить ни одного его слова и, быть может, даже, чтоб уловить удобный момент и самому заговорить с ним. И если только в душе этого прохожего теплилась искра любознательности и жажды к самосовершенствованию, он почувствует себя неудержимо привлеченным к этому волшебнику и, как бы очарованный таинственной силою речей; станет следовать за ним, как и многие другие. Вот что говорит в платоновском “Пире”, в присутствии самого Сократа, его бывший ученик, а ныне отщепенец Алкивиад, – человек, нелегко поддававшийся каким бы то ни было облагораживающим влияниям: “Я слышал немало ораторов, но ни один из них, даже самый лучший, не производил на меня особенного впечатления. Не то совсем, когда ты говоришь, Сократ: будь то мужчина, или женщина, или ребенок – все равно: ими всеми, когда они тебя слышат, или им передают хотя бы из

третьих уст твои слова, овладевает какое-то неизъяснимое волнение и удивление. И я сам, если бы не боялся показаться вам, господа, слишком пьяным, готов был бы под клятвою показать, как действуют на меня Сократовы слова: всякий раз, как я его слышу, мое сердце бьется во мне, как иступленное, и слезы льются ручьем из моих глаз. Я наблюдал – могу вас уверить – то же самое и у других. Я слышал Перикла и других красноречивых ораторов; я сознавал, что они говорят хорошо, но никогда не испытывал ничего подобного: они не волновали моей души, они не заставляли меня презирать себя за свою рабскую натуру. Но вот этот сатир, этот Марсий приводил меня в такое состояние, что я – ты это сам отлично знаешь, Сократ, – прямо чувствовал невозможность продолжать так жить, как я жил доселе, и я уверен, что не затыкай я ушей своих от его речей и не убегай я от его голоса, как от пения Сирены, меня постигла бы та же участь, что и многих других: я состарился бы, сидя у его ног... О, сколько раз, – заключает свою речь с каким-то воплем отчаяния этот отщепенец, – о, сколько раз желал я, чтобы он поскорее умер! Но вместе с тем я сознавал, что, умри он на самом деле, моему горю не было бы предела, – оно было бы глубже, нежели моя радость, и я сам не знал, чего желать!”

Велико, могуче должно было быть влияние Сократа на умы слушателей, чтобы даже такое неукротимое, испорченное сердце, как Алкивиада, трепетало и билось в его сетях, как только что пойманная птица!

Но не одними речами околдовывал мудрец. Тот же Алкивиад, сравнивая его со статуэтками Силенов, которые продавались во всех лавках и внутри которых, если их раскрыть, можно увидеть изображения богов, указал вместе с тем на тайну обаяния Сократовой личности: под этой уродливой и вульгарной оболочкой скрывалась такая мощная и в то же время уравновешенная натура, какая в представлении греков могла быть только у богов.

На первый взгляд Сократ может показаться холодным и бесчувственным – подобно стальной машине – мыслителем, проламывающим себе путь, не останавливаясь ни перед какими соображениями практического или сентиментального характера. Он редко входит в духовный мир своего собеседника и редко чувствует к нему ту симпатию, которая прощает чужие слабости и относится с уважением даже к предрассудкам. Собеседник был для него, прежде всего, больной пациент, которого надлежит вылечить во что бы то ни стало – даже вопреки его нежеланию, и извивается ли он от боли под клинической сталью, протестует ли он всеми фибрами своего окровавленного сердца,

вырывается ли вместе с мертвым и живое мясо, – до всего этого Сократу нет дела: он продолжает оперировать подобно хирургу, безжалостно и бесстрастно вырезая мнения и верования, которые кажутся ему вредными и ложными. С убийственной иронией осмеивал он священнейшие чувства человека, дерзкой и злорадствующей рукою сбрасывал он чужие идолы, попирая их ногами, и никогда не задумывался о том, что даже мучительную занозу следует вынимать со всею нежностью и мягкостью любящего сердца. Ввиду этого неудивительно, что некоторые биографы обвинили Сократа в сухости, черствости и недостатке воображения; но это значит, по нашему мнению, упускать из виду ту черту его духовной личности, которая лежит в основе всей его деятельности и жизни, и которая – как это ни покажется парадоксальным – является причиной всей кажущейся его бесчувственности. Великие мысли, как говорит Вовернаг, исходят из сердца, и подо льдом Сократовой мысли действительно текла горячая лава страсти. То была страсть его к истине – именно не любовь, а страсть, всепоглощающая, жгучая и ненасытная, для которой нет удовлетворения в самом обладании. Истина для Сократа была выше всего: он был ее раб, готовый в поисках ее стучать во все двери и лобызать следы ее ног. С настойчивостью пылкого юноши он следовал за нею повсюду – от храма богов до скромной обители ремесленника, – и каждый шаг, приближавший его к ней, казалось, еще больше разжигал его страсть, его желание ею обладать. Стремление его к истине было неуклонно, и где только знакомый облик вечно юной и вечно прекрасной возлюбленной мелькал перед его взором, он забывал все окружающее и отдавал ей все свои помыслы, все свое существо. Однажды под Потидеей, во время военной стоянки, он простоял целые сутки, от зари до зари, погруженный в мучительную думу: солнце взошло и закатилось, сумерки окружили его таинственной мглой, луна облила его своим серебристым сиянием, а он с поникшей головою все продолжал стоять на одном и том же месте, как неподвижная статуя, не замечая времени и не чувствуя ни холода, ни голода, ни утомления. Только когда занялась вторая заря, очнулся он от долгого своего забытья: занимавший его вопрос, очевидно, был наконец разрешен, и, подняв взор навстречу первым лучам солнца, он тихо совершил молитву и возвратился в свою палатку. Так властно царила над его душою истина, так беззаветно и неудержимо стремился он к ней! Нужно ли после этого удивляться его строгому и суровому отношению к другим? Истина – это солнце, все освещающее и все согревающее: стоит ли хлопотать и тужить о том, что чьи-то совиные глаза ослепляются и гады, живущие во тьме и сырости, издают хриплые протесты и корчатся от боли? Только потому, что он так

пламенно любил истину, могла развиваться в нем бесчувственность к страданиям греха и заблуждения: люби он ее меньше, он был бы и снисходительнее, и мягче, но не был бы тем, чем он был. Без сомнения, он многих оттолкнул и сделал врагами, но те, которые имели мужество простоять под его безжалостным ножом до конца, привязывались к нему, как к своему благодетелю, даровавшему им вторую и лучшую жизнь. Обратимся теперь к другим его особенностям, более популярным и более доступным поверхностному наблюдателю. Все свидетельства сходятся во мнении, что от природы он был страстным и даже склонным к чувственности, но все они в один голос восторженно заверяют, что ни один человек ни до, ни после него не выработал в себе такого самообладания, такого умения держать себя в узде, как Сократ. Он был так умерен в пище и питье, что все удивлялись, как он мог жить! Круглый год, невзирая на погоду, в сильную ли жару или трескучий мороз, он носил одну и ту же плохонькую одежду и ходил босой с непокрытой головой. Одаренный крепким и сильным организмом, он еще более закалил свое тело и мог переносить лишения и труды, как никто. Под Потидеей, когда афинская армия была отрезана от обозов и страшно страдала от голода, а морозы стояли такие суровые, что солдаты редко выходили из палаток и укутывали ноги мехом или соломой, один Сократ делал свое дело как ни в чем не бывало и босиком, в своем обычном хитонишке, маршировал по снегу и льду, как по зеленой траве. Вместе с тем он не был аскет: никто дальше него не мог быть от той уродливой морали, в которую так часто впадают другие моралисты схожих с ним взглядов. Он был сын своего времени, для которого земная жизнь не была ни испытанием, ни юдолью, а прекрасной вещью, которою следует пользоваться со всею радостью и безмятежностью ребенка. И вино, и женщины, и песни имели для него, как и для Лютера, реальное значение, и если он все-таки настаивал на необходимости для всякого умерять свои желания и ограничивать свои нужды, то не из видов умерщвления плоти, как седалища греха, а потому, что считал внутренний мир человека важнее физического и внешнего. Первый должен быть независим от последнего, и, каковы бы ни были наслаждения и страдания, которые мы испытываем, мы не должны подпадать под их влияние. А что другое может вести к таким результатам, как не постоянное и непрерывное упражнение в умеренности и самообуздании? Стать выше чувственных appetитов и господствовать над ними или даже поддаваться им, но по собственному желанию, – это высшая цель свободного человека, стремящегося к божественному идеалу. “Не нуждаться ни в чем, – говорил Сократ, – значит быть божеством, а нуждаться лишь в малом – значит

наиболее близко походить на него. А так как божественная природа – совершенство, то приблизиться к ней – значит приблизиться к совершенству”. Он сам и был близок к этому идеалу, – не столько тем, что, живя малым, он, по словам Ксенофонта, жил вместе с тем как бы в достатке, сколько тем, что умел сохранять ясность и невозмутимость духа при всевозможных обстоятельствах. Он, например, редко пивал, но когда уж пил, то пил, как никто, и в то время, как его собутыльники валялись под столом, он один, несмотря на то, что выпил больше всех, оставался трезв с такой же спокойной и ясной головой, что и прежде. Это было то самообладание, та ровность настроения, которой не могла не удивляться сама Ксантиппа. “Он у меня всегда возвращается домой, – говаривала она своим соседкам, – точно с таким выражением лица, с каким уходил”. И, конечно, лучшей похвалы нельзя и ожидать.

Рядом с этим самообладанием стоит его мужество. Как мы выше уже указали, он далеко не был нечувствителен к удовольствиям и страданиям нашего бренного тела; напротив, он охотно шел навстречу первым и не менее охотно избегал вторых. Но он умел придавать им должную цену по отношению к духовному своему миру, и там, например, где наслаждения грозили чистоте его нравственного самосознания или страдания являлись неизбежным условием сохранения ее, он умел спокойно, без дальнейших размышлений, без внутренней борьбы уклониться от одних и встретить лицом к лицу другие. Такого рода положения вовсе не представлялись ему дилеммами, как они представлялись и представляются большинству человечества: самой мысли о выборе не существовало для него, – тем менее о компромиссе. Отсюда-то его мужество, непоколебимое, спокойное, сознательное и, вместе с тем, без рисовки, которое с такую силою действовало на воображение его современников. Его хладнокровное и бесстрашное поведение на войне – в сражениях под Потидеей, Делием и других – вызывало всеобщее удивление и похвалы; но еще больше – его стойкость при столкновениях с народом и тиранами. Об этих двух замечательных случаях из его жизни стоит рассказать, так как они чрезвычайно ярко иллюстрируют данную выше характеристику Сократа.

В 406-м году, после длинного ряда неудач, афиняне, наконец, одержали при Аргинузах такую блестящую победу над лакедемонянами, что на радостях все поголовно рабы, состоявшие в экипаже флота, получили свободу и даже некоторые права гражданства. Ликование было всеобщее, но (увы!) оно вскоре было омрачено известием, что навархи (адмиралы) не только не собрали и не предали земле плавающие трупы убитых, но даже не позаботились о том, чтобы по окончании сражения подобрать увечных и

раненых, предоставляя им погибать на обломках судов. Такая небрежность по отношению к последним была в то время не менее преступна, нежели теперь; но нужно еще вспомнить то религиозное значение, которое древние греки придавали обряду погребения умерших, – обряду, без которого душам последних приходилось скитаться по берегам Стикса без приюта и приветов до скончания веков (вспомним, например, Софоклову драму “Антигона”, всецело построенную на этом поверье), чтобы реализовать хоть сколько-нибудь полно то огромное впечатление, которое это известие должно было произвести на Афины. От безграничной радости город сразу перешел к трауру; плач, жалобы и стоны наполнили воздух, и негодованию на победоносных, но преступных навархов не было пределов. Их вытребовали к суду, и народ, обезумевший от горя и поджигаемый интригами олигархической партии, настаивал, вопреки писаным законам конституции, на поголовном осуждении и наказании обвиняемых. Напрасно утверждалось, что это требование незаконно, что оно идет вразрез с основными принципами гражданской свободы и что, наконец, имеются обстоятельства, извиняющие если не всех, то, по крайней мере, некоторых из злополучных навархов: народ неистовствовал и шумел, как расходившееся море, отказываясь выслушать обвиняемых и настаивая на немедленном и коллективном их наказании. Пританы – председательствующая триба – должны были сдаться на угрозы и, после некоторых размышлений, малодушно решили поставить на голосование вопрос о виновности навархов в желательном народу смысле; только один из них отказался дать свое согласие на такое незаконное действие суда: то был Сократ. Несмотря на дикие угрозы народа и общие клики бешенства и ярости, он спокойно, но решительно заявил свой протест против такого явно несправедливого и нелицеприятного поведения суда и оставил собрание, предпочитая встретить мучительную смерть от рук разъяренной толпы, нежели быть соучастником в преступлении.

Другой случай произошел двумя годами позже, когда афинским государством правили пресловутые тридцать тиранов. Захватив власть и укрепив ее за собою при помощи спартанских мечей, эта горсть аристократических яacobинцев не замедлила удариться в террористическую вакханалию: конфискации имущества, тюремные заключения, ссылки, казни и прочие насилия сыпались градом на головы злосчастных демократов, и не было среди последних человека, выдающегося по своему влиянию или богатству, или убеждениям, который рано или поздно не пал бы жертвою исступленной реакции. Между прочим, боясь острого языка Сократа, они еще в начале своего правления издали указ, запрещающий

философам обучать искусству аргументировать и спорить (эвристике), и наш философ чуть не поплатился за свое упрямство. Ввиду многочисленных казней Сократ однажды публично заметил: не странно ли, что в то время как пастухи, у которых стада почему-то уменьшаются, считаются негодными, – правители, при которых население также по каким-то таинственным причинам убывает, продолжают смотреть на себя как на людей способных и годных к взятой на себя роли? За это тираны призвали его к себе и, сделав строгое внушение, посоветовали ему держать язык за зубами и не употреблять впредь никаких иллюстраций и притч о пастухах, так как де, в противном случае, Сократ собственной своей персоной поспособствует уменьшению народного стада. Намек был достаточно ясен и циничен, но все же Сократ дешево отделался, – быть может, благодаря заступничеству Крития, главаря тридцати и бывшего слушателя Сократа. Но уже вскоре представился другой и более благовидный случай погубить мудреца: ему и четверым другим популярным горожанам поручено было отправиться на остров Саламин и привезти оттуда некоего Леона, демократа с большими средствами, бежавшего от преследований олигархов. Это была одна из обычных уловок хитрых правителей, старавшихся связать со своей судьбою сколь возможно больше людей, если не сочувствием, то своекорыстием, а если не последним, то хоть соучастием, вольным или невольным, в преступлениях, Сократ был слишком умен, чтобы клюнуть на такую грубую удочку, и слишком честен, чтобы играть роль, и вот в то время, как его товарищи беспрекословно повинуются гнусному приказу, он невозмутимо, как ни в чем не бывало, отправляется домой и спокойно ждет своей участи. Гибель его была неминуема, но, к счастью, вскоре камарилья была свергнута и Сократ был спасен.

Что в этих поступках Сократа поражает больше всего – это совершенное отсутствие драматических моментов, которые мы привыкли ожидать всякий раз, когда видим столкновение эгоистических интересов с требованиями долга или убеждения. Вы видите перед собою человека, для которого дилеммы со всеми их патетическими или сентиментальными аксессуарами не существуют. Сократ не раздумывает, не рефлексит, не рассуждает, а просто в силу инстинктивного тяготения ко всему хорошему и честному избирает путь, на который ему указывает совесть и на который он вступает с таким же легким сердцем, как если бы его ждали розы, а не смерть. Современное человечество, исковерканное своим историческим воспитанием с его уродливой обстановкой и ложными, больными идеалами, пожалуй, не в состоянии по достоинству оценить красоту этой

простой и цельной природы; но античному обществу, еще не дошедшему до духовного раздвоения и не видевшему красоту нигде, кроме как в здоровой и совершенной гармонии всех сил человеческого существа, личность Сократа должна была казаться высшим проявлением божественного гения *νοδζ*, одним из совершеннейших идеалов счастливого человечества. В этом именно смысле Сократ был исключительным явлением даже в глазах своих современников: “Вы можете себе легко вообразить, – говорит Алкивиад, – что, например, Бразид и другие полководцы походили на Ахилла, а какой-нибудь Перикл – на Нестора и Атенора. То же самое можем мы сказать о любом великом человеке, но не о Сократе: этому странному существу вы не найдете никого другого, хоть сколько-нибудь подобного, – ни среди тех, которые живут ныне, ни даже среди тех, кто жили до нас”.

После таких отзывов процесс Сократа с его обвинениями в растлении общественной морали нас ставит в тупик, но об этом мы поговорим в заключительной главе; теперь же скажем два слова о его пресловутом “демо́не”, без чего этот очерк мог бы показаться неполным. Очень часто, когда Сократ предпринимал решение, либо важное само по себе, либо шедшее вразрез с ожиданиями его друзей, он ссылался на голос “демона” *δαίμόνιον*, запретивший ему поступить иначе, как он поступил (голос этот только возбранял, но никогда не побуждал). Больше мы об этом ничего не знаем; но несмотря на это или, быть может, именно поэтому уже с давних пор придумывались гипотезы о том, что бы такое этот демон мог собою обозначать. Теории существуют разные, вероятно, столько, сколько было голов, задававшихся разрешением этого вопроса. Одни считают этого демона ангелом-хранителем или, по крайней мере, гением Сократа; другие полагают, что то был голос его совести; третьи, в истом духе современной психопатологии, утверждают, что Сократ был просто-напросто одержим психозом, периодически подвергавшим его галлюцинациям, а четвертые совсем не верят в демонов и говорят, что ссылка Сократа на них была не больше, как желание помистифицировать почтеннейшую публику, – желание, вполне объяснимое его любовью к иронизированию. Мы не намерены своим собственным мнением еще больше увеличить число этих теорий, да оно и бесцельно: чем бы этот демон в конце концов ни оказался, оно нам нисколько не поможет ни полнее оценить личность Сократа, ни лучше понять его учение. Мы предоставляем поэтому читателю полную свободу выбирать между вышеуказанными теориями, равно как и выдумывать свою собственную: пусть он только помнит, что, каковы бы ни были его мнения на этот счет, они не будут ни основательнее, ни новее, чем сотни других, провозглашавшихся *ex cathedra*^[1] и иным путем.

ГЛАВА II

Источники. – Сократово сознание своего невежества. – Что такое знание для Сократа? – Этика и прочие науки. – Презрение к естественным и физическим наукам. – Исторический момент. – Крушение древнего строя и мирозерцания. – Роль софистов: их заслуги и недостатки. – Отношение к ним Сократа и исходная точка его философии. – Добродетель-знание. – Добродетель-благо. – Значение логических определений и их место в Сократовой системе. – Диалектический метод и эленх. – Иллюстрации Сократовых приемов. – Религиозные и политические убеждения Сократа

Приступая к обзору учения Сократа, мы в самом начале встречаем крупное затруднение. Сам философ, за исключением пары стихотворных переложений на Эзоповы темы, сделанных им за несколько дней до своей смерти, никогда в своей жизни не написал ни строчки, и все, что мы знаем о нем или о его учении, мы почерпнули, главным образом, из Ксенофоновых “Воспоминаний” о Сократе и из диалогов Платона. Что касается первых, то они, при всей несомненной правдивости и честности автора, страдают большими недостатками: написанные уже после смерти Сократа, эти “Воспоминания” имели исключительной своей целью ответить на те обвинения, жертвою которых пал любимый учитель. Этим определяется не только характер, но и содержание и объем сочинения. “Воспоминания” касаются личности философа лишь настолько, насколько это необходимо для реабилитации памяти покойного, а учение его излагается лишь в том объеме и тех аспектах, которые имеют отношение к вопросам о неверии и развращении молодого поколения. Кроме того, вся книга отличается чрезвычайной поверхностностью и мелкотой: мещанский и близорукий ум Ксенофонта, по-видимому, был неспособен проникнуть за внешние покровы Сократовой души в глубь ее изгибов, где билась горячей волною его великая, бессмертная мысль. При таких условиях мы вряд ли сумели бы составить себе более или менее отчетливое представление о Сократе и его деятельности, если бы нам на подмогу не явился другой ученик Сократа, Платон, один из гениальнейших мыслителей, какого мир когда-либо видел. Про него уже нельзя сказать, что он не понимал своего учителя; но, к сожалению, и он, взятый сам по себе, не мог бы служить вполне надежным путеводителем. Платон, как известно, сделал Сократа

носителем и выразителем своих, Платоновских, идей: в диалогах его фигурирует не он сам, а Сократ, который ведет разговор, развивает Платоновские доктрины, аргументирует, защищает, опровергает противников и пр., так что иногда очень трудно, а подчас прямо-таки невозможно различить, где говорит Платон устами воображаемого Сократа и где говорит исторический Сократ сам. Тем не менее, в общей верности набрасываемого портрета и в подлинности там и сям обрисовывающейся Сократовой доктрины мы не имеем основания сомневаться, – особенно в тех случаях, когда показания Платона совпадают с Ксенофоновыми и не представляют внутренних противоречий. Знаменитая “Апология Сократа” и, в несколько меньшей степени, диалоги “Федон” и “Критон” составляют для нас главные авторитеты, и при дополнении их сведениями, взятыми у Ксенофонта, нам кое-как удастся, – далеко не полно и не совершенно, но все же в общем правдиво, – составить себе некоторое представление о том, чему учил афинский мудрец.

В “Апологии” Сократ рассказывает, как один из наиболее горячих его поклонников Херефонт отправился однажды в Дельфы спросить оракула, кто самый мудрый из всех людей. Пифия ответила, что мудрее всех, без сомнения, Сократ, и последний был так поражен, что готов был не поверить божественным словам. Однако он вскоре отогнал нечестивые эти помыслы и решил как-нибудь добиться смысла этого загадочного ответа, так как сам лично он признавал себя не только не мудрецом, но прямо-таки круглым невеждою. Он начал сравнивать себя с другими людьми: он отправился к одному из выдающихся общественных деятелей, почитаемому всеми за чрезвычайно умного и знающего, и вступил с ним в разговор. Увы! он скоро должен был признать, что тот, в сущности, ничего не знает, как и он сам, и что только другие почему-то почитают его за мудреца. “Тогда я оставил его и подумал: хотя я и не верю, чтобы кто-нибудь из нас обоих действительно знал, что такое истина, добро и красота, но за мною все-таки то преимущество, что в то время, как он ничего не знает, но думает, что знает, я точно так же ничего не знаю, но вместе с тем сознаю, что я ничего не знаю”. Он идет к другому и третьему деятелю подобной репутации, но находит везде одно и то же самомнение невежества. Тогда он обращается к поэтам, этим толкователям законов божеских и человеческих, и предлагает им объяснить некоторые отрывки из их же сочинений. И что же? “Поверите ли, мне почти стыдно говорить об этом, но я должен признаться, что вряд ли есть здесь (в зале суда) человек, который не мог бы лучше истолковать поэзию, нежели поэты сами. И я понял, что не мудростью творят поэты поэзию, а каким-то особенным духом и вдохновением: они, подобно

прорицателям, произносят прекрасные вещи, не понимая их смысла”. И, что всего хуже, эти люди не только не мудры, но еще, “опираясь на свою поэтическую славу, претендуют на исключительную мудрость даже в таких вещах, которые к сфере их деятельности вовсе не относятся и которым, в сущности, они совершенно чужды”. После этого Сократ идет к художникам и ремесленникам, но здесь встречает то же самое: хотя в своей специальности они и мудрее прочих людей, но они разделяют общее с поэтами заблуждение, считая себя мудрыми даже в таких вещах, о которых они не имеют ни малейшего представления. Тогда только выяснился Сократу смысл Аполлоновых слов: он такой же невежда, как и все прочие люди, но он уже тем мудрее их, что сознает это самое свое невежество.

Этот рассказ, претендующий указать на происхождение сократовской философии и деятельности, не верен ни исторически, ни психологически. Исторически – потому, что не только Херефонт, как видно из рассказа, был ученик Сократа, и последний, стало быть, уже начал свою философскую деятельность, но и слава философа должна была уже к тому времени значительно распространиться так, чтобы у Херефонта могла зародиться мысль сравнить своего учителя с прочими современниками. Рассказ неверен и психологически, так как для того, чтобы судить о невежестве других и своем, Сократ уже должен был знать, что такое мудрость, каковы ее признаки и каково ее мерило: без этого он не мог бы констатировать ее присутствия или отсутствия ни в себе, ни в других. При всем том этот рассказ имеет для нас первостепенное значение: он сразу раскрывает перед нашим взором основной характер и основную точку зрения Сократовского мирозерцания. В самом деле, в силу чего находит он этих людей – общественных деятелей, поэтов и ремесленников – невежественными, а потому немудрыми? Он готов признать, что первые довольно успешно правят государством, что вторые пишут прекрасные поэтические произведения и что третьи даже лучше, нежели он сам, Сократ, понимают свое дело, – словом, что каждый из них обладает довольно сносными знаниями в своей специальности и профессии; какие же требования, в таком случае, он предъявляет им, что неумение удовлетворить им он признает за невежество? Ответ на этот вопрос указан самим Сократом: “хотя я и не верю, чтобы кто-нибудь из нас обоих действительно знал, что такое *истина, добро и красота*” и т. д. Истина, добро и красота – эта этическая троица греков – является во мнении Сократа единственно важным предметом изучения и знания, без чего человек, как бы сведущ он ни был в других областях, есть не что иное, как невежда. И именно в силу того, что все прочие люди, не зная – как и он сам – что, собственно, такое

эти истина, добро и красота, вместе с тем даже не сознают самой важности такого знания и потому не замечают в себе столь существенного пробела, Сократ пришел к заключению, что он все же мудрее их. Другими словами, уже одно то, что он, единственный из всех людей, сознал ценность этического знания, дает ему право считать себя мудрейшим на земле, несмотря на то, что этих знаний у него, как и у тех, еще нет: он богаче всех других тем, что знает, чего ему недостает; они бедны, как жалкие рабы, тем, что не сознают даже того, чего у них нет, и в то время, как он знает, к чему следует стремиться как к истинной цели жизни, все прочее человечество как бы осуждено на вечное прозябание в беспросветном мраке. Таков истинный смысл Сократовского сознания своего невежества: это не было скромное или смиренное паче гордости заявление своего незнакомства с теми или другими отраслями знания, как это принято думать, а грандиозное завоевание человеческого разума, – целый переворот в системе философского мышления. Нравственная сторона человеческого существа была поставлена этим в центре вселенной, и изучение ее во всех положениях и отношениях провозглашено самым ценным и важным делом в области нашей познавательной деятельности. Вся предыдущая философия, начиная от Фалеса, занималась исключительно вопросами космологическими, ища то в области математики, то физики, то психологии ключ к уразумению мироздания, его законов, его происхождения, его общего смысла. Сократ же первый, – если не считать попыток Элеатской школы, более важных исторически, нежели с точки зрения развития мысли, – стал настаивать на изучении человеческого духа как важнейшего объекта нашего познания, – и в этом заключается его бессмертная заслуга перед европейской философией.

Вместе с тем, в силу того чрезмерного увлечения своими идеями, которому так часто предаются новаторы, Сократ делал нравственность не только важнейшим, но и *единственным* предметом, достойным изучения. Труды современных и других философов казались ему смешными. Неужели, – говаривал он, намекая на занятия их астрономией и космологией, – неужели эти господа считают свое знакомство с человеческими делами настолько полным и совершенным, что находят возможным заниматься небесными? Ему даже казалось непонятным, каким образом вообще возможно дойти в этих областях до истины, когда нет ни одного положения, на котором все философы сходились бы и смотрели как на установленный факт: одни считают, что все существующее – едино, а другие, – что оно бесчисленно; одни, – что все движется, а другие, – что все находится в абсолютном покое; одни, – что в мире все рождается и

погибает, а другие, – что ничто не рождается и ничто не погибает. Где же, в таком случае, искать правды? А если даже она и будет найдена, то кому и какая от этого польза? Разве эти ученые смогут произвести дождь? или изменить порядок времен года? или удлинить день и укоротить ночь? Нет, решает Сократ, все это – мнимое и бесцельное знание, которое нисколько не касается человека и ни на волос не увеличивает его счастья. Истинная и реальная наука – та, которая занимается вопросами животрепещущего, земного, человеческого интереса, как, например, вопросами о том, что есть благочестие и что нечестивость, что – справедливость и что несправедливость, что храбрость и что трусость, что есть государство и что государственный человек, и т. д., и т. п.

Нам теперь нетрудно понять, как глубоко ошибался Сократ в своих взглядах на математические и естественные науки: отделенные от него опытом многочисленных поколений и вековой работой мысли на почве научных изысканий и философских исследований, мы в состоянии теперь видеть, как плодотворны были труды тех ученых, которых афинский мудрец не стеснялся сравнивать с сумасшедшими, не понимающими, чего им надо и к чему они стремятся. Истина в этих областях не только была найдена, но и легла в основу всей нашей жизни, отдав в наше распоряжение могучие силы природы и окружив нас тем материальным комфортом, который так резко отличает наш век от всех предшествовавших. Мало того: это самое “мнимое и бесцельное знание”, которое, казалось, “нисколько не касается человека”, является, как мы теперь все более и более убеждаемся, необходимым условием или, скорее даже, базисом для построения тех наук общественно-этического характера, которые Сократ признавал за единственно реальными и полезными. Мы уже ясно видим, что без знания законов, которым подлежат явления в мире физическом, мы не в состоянии сделать ни одного правильного шага по пути завоевания истины в области социальных и нравственных отношений и что, следовательно, как бы прав ни был Сократ, утверждая, что самым важным предметом науки должен быть сам человек в его отношениях к другим себе подобным, он все же глубоко заблуждался, полагая, что эта наука может быть разработана и построена независимо и раньше всех прочих, – хотя бы то были астрономия или космология. Все попытки, которые до сих пор делались в желательном Сократу направлении, – попытки, в которых нередко принимали участие величайшие умы человеческой расы, – оканчивались всякий раз если не плачевно, то бесплодно, и только теперь, когда высшие отрасли естественных наук принимают все более и более строго философский характер, мы в

состоянии приблизиться к тому конкретнейшему из конкретных предметов научного исследования, каким является психический и нравственный мир человека.

Все же, несмотря на всю свою незрелость и несостоятельность, Сократовы взгляды на сравнительную важность тех или других наук имеют за собою огромную долю исторической правды: его устами говорила эпоха, и ее-то нам нужно очертить, чтобы понять это резкое утверждение этики как науки *par excellence*.^[2]

То было время всеобщего разрушения, когда старые устои афинского общества впервые стали качаться от размаха освобожденной персидскими войнами мысли. Коренное изменение в общественно-политических отношениях страны – изменение, выразившееся в крушении старого аристократического порядка и замене его демократической конституцией, – было лишь сигналом к массовому восстанию против всей совокупности понятий и идей, существовавших доселе как незыблемые истины. Жизнь Афин, как и всех гражданских общин древности, покоилась в гораздо большей степени, нежели жизнь современных обществ, на целой системе религиозно-нравственных и политических понятий, выработанных трудами многочисленных поколений и передаваемых из века в век. Эти освященные традициями понятия казались чем-то стоящим выше человеческого разума: они считались божественного происхождения, и, как таковые, вечными, непреложными, неприкосновенными. Но развитие на почве реальных условий жизни демократического духа с его требованиями личных и равных прав для каждого отдельного члена общества нанесло смертельный удар всем этим устаревшим основам социальной жизни: гражданская личность, достигнув своего самосознания, не остановилась перед древними понятиями и верованиями, которые стояли на ее пути к занятию полноправного положения в обществе. Она пробила в их стене брешь и тем самым навсегда разрушила те чары, которыми, казалось, они были окружены. Личность сознала себя державною не только в сфере общественно-политических, но и в сфере нравственно-религиозных отношений, и унаследованные традиции потеряли в ее глазах свое прежнее обаяние. Дерзкою рукою было сдернуто с них покрывало, – и вместо страшного крушения всего социального здания, как то предсказывали консервативные Кассандры, перед пылающими энергией взорами смельчаков предстали во всей их уродливой наготе старые, сгнившие подпорки, еле-еле выдерживающие тяжесть строения. Сердце забило в ускоренном ритме, кровь заволновалась и заходила с лихорадочной быстротою, и мысль, вздрогнув, зашевелилась живей и сильнее. Одна за

другую прадедовские идеи стали призываться на суд критического разума, и одна за другою они признаны были негодными. Разрушение было полное, обломки усеяли весь пол общественного здания, и над ними в каком-то восторженном опьянении высились могучие фигуры бойцов.

Читатель узнает знакомую картину: она не раз появлялась на подмостках европейской, да и нашей собственной истории. Это – эпоха подведения великих итогов своего национального прошлого и сметания в кучу всего того негодного сора, который образовался от векового гниения общественных устоев. Деятели этой эпохи были те самые софисты, “развратители афинского общества”, пороки которых мы со времени Платона перечисляли на всевозможных языках с неутомимостью и самоуверенностью, достойными лучшего дела. Размеры этого очерка не позволяют нам входить в опровержение ходячих мнений об этом “столь оклеветанном племени людей”, как их называет Льюис: мы отсылаем читателя за этим к Гроту; здесь же мы укажем лишь на их деятельность и отношение к ним Сократа.

Софисты являются энциклопедистами V века до Р. Х. с тою, однако, особенностью, что они были не только теоретическими мыслителями, но и практическими деятелями, которые с киркою и заступом в руках ломали обветшалое здание. Под ножом их скептического разума старые понятия разрушались одно за другим: прежние истины оказались ложью, старые обычаи – творением хитрых и своекорыстных правящих классов, а древние общественные узы – одною лишь тиранией. Личный разум индивида занял верховное место как в политике, так и в морали, и все, что не в состоянии было оправдаться на суде этого разума, признано было обманом. “Человек есть мера всех вещей”, – гордо провозгласил Протагор, наиболее блестящий вождь софистов: не только свойства, но и самое существование вещи зависит от суждения разумной личности. В этом мире все относительно и вещи имеют значение лишь постольку, поскольку они признаются за таковые мыслящим субъектом. Объективная истина, таким образом, исчезает, и на ее место становится субъективное наше мнение о ней. Этот принцип и есть та единственная связь, которая соединяла целый ряд людей с разнообразным родом деятельности и профессий в одну общую школу софистов, и из него вытекал тот крайний скептицизм, которому другой выдающийся мыслитель того времени Горгий дал выражение в своих знаменитых положениях о том, что ничто не существует, что если бы что-нибудь и существовало, то мы все-таки не могли бы его познать, и что, наконец, если бы мы и познали, то мы все же не могли бы передавать наше знание другим. Общий смысл довольно ясен: и здесь на место объективных

вещей ставятся индивидуальные мнения о них, уже одним своим разнообразием доказывающие нереальность этих вещей и невозможность во всяком случае какого бы то ни было знания их. Такое крайнее развитие индивидуализма, такой, если можно так выразиться, философский анархизм, был лишь логическим выводом из тех посылок о державности личного разума, во имя которых эти деятели разрушили древний мир понятий и отношений. Но именно эта сильная сторона была вместе с тем и слабой. Общественное сознание не может долго жить одним отрицанием, и деятельность общества лишь на короткое время в состоянии ограничиться одним разрушением: как только поле очищено от старого хлама, на сцену появляются иные запросы, имеющие своей целью уже не дальнейшее разрушение старого, а созидание нового. Горе тому, кто, увлекшись своей работой или не поняв изменившегося характера общественных нужд, не сумеет остановиться вовремя и станет продолжать дело разрушения! Сделавшись живым анахронизмом, он не только навлечет на себя насмешки, а потом ненависть со стороны тех, кто трудится над созиданием, но действительно вырождается в конце концов в болтуна или вандала, против которого будет возмущаться общественная совесть. Именно такова была судьба позднейших софистов, которых и имели в виду Платон и Аристотель. Не Протагор и не Горгий служили им мишенью, а те эпигоны их, которые пережили самих себя и превратились в своекорыстных отрицателей без убеждений и без совести. Этих-то эвристик, безнравственных спорщиков о чем угодно и как угодно, драпировавшихся в устаревший и более уже не идущий им плащ софистов, и обессмертили вышеупомянутые писатели, совершив, однако, непростительную ошибку тем, что не провели достаточно ясной грани между обоими поколениями софистов: до – и послесофратовских.

Во всем этом Сократ сыграл главную роль: ему греческая мысль была обязана своим поворотом в сторону положительного построения, и, стало быть, он был виновник нравственного банкротства софистов и гибели репутации их. С инстинктом природы глубокой и уравновешенной он не мог удовлетвориться одним отрицанием, и тенденция софистических учений казалась ему тем опаснее, что развитие их в теории и на практике не встречало на своем пути никаких преград. В самом деле, если, говоря словами Целлера, “вечной и незыблемой истины не существует, то не может существовать и вечного и незыблемого закона; если человек в своих представлениях является мерою всех вещей, то он неизбежно должен стать мерою и всех своих поступков; и если для каждого отдельного человека только то истинно, что ему кажется таковым, то для него и справедливое и

хорошее вскоре явится не чем иным, как то, что ему кажется таковым. Другими словами, всякий человек имеет естественное право следовать своему произволу и желаниям, и если закон и обычай ставят ему на этом пути те или другие преграды, то получившееся в силу этого отклонение от естественного права есть принуждение, которому никто не обязан повиноваться, кто только обладает достаточной силою, чтобы устранить или обойти его”. Справедливость требует нас признать, что такого рода ницшеанство никогда не проповедовалось ни одним из известных софистов – современников Сократа, а Калликл, который действительно развивал подобную противообщественную доктрину, не только не был софистом, но, как свидетельствует сам Платон, был даже врагом их. Тем не менее, такого рода положения казались или могли казаться положительным умам, вроде Сократова, весьма возможными выводами из Протагоро-Горгиевых тезисов, и немудрено поэтому, что наш философ решил им противодействовать, выдвигая против их бесконечного отрицания новую философию, построенную на положительных основаниях. Эта философия должна была быть этикою, потому что в области этических понятий и отношений царил хаос.

Постараемся же очертить сделанные Сократом в этом направлении попытки. Горький исторический опыт научил нас смотреть на большинство попыток к “построению”, следующих за периодом отрицания, не больше как на реакционное движение, имеющее целью реставрировать упраздненные идеалы, понятия и учреждения. Мы, однако, напрасно стали бы искать того же у Сократа. Глубоко понимая потребности своего времени, он, как и все прочие передовые деятели той эпохи, решительно восставал против всех старинных преданий и авторитетов и в основу своего учения о нравственности положил не эти последние, а тот новый принцип – разум, который в этот момент впервые был вызван к жизни. Для него, как и для Протагора, критическая мысль личности была мерою всех вещей, а следовательно, и истины интеллектуальной и нравственной; но в то время, как великий вождь софистов воспользовался этим могучим рычагом с исключительною целью опрокинуть господствовавшее дотоле мирозерцание, Сократ сделал его краеугольным камнем, на котором он выстроил новое этическое здание. При этом он ни на шаг не отступил от той позиции иконокласта, которую занимали все серьезные мыслители греческого Aufklärung,^[3] и, так же, как и они, он требовал, чтобы наши поступки и наши отношения основывались не на предписаниях прадедовской мудрости или обычаях, не имеющих за собой ничего, кроме седой старины и привычки, а на требованиях сознательной мысли,

определяющей в каждый данный момент норму нашего поведения, Правда, он не заходил так далеко, как некоторые софисты, и не отрицал огульно и всецело значения этой мудрости и обычаев *an und für sich*; ^[4] но он сходился с ними в том, что признавал их вред, а следовательно, требовал и упразднения авторитета их в тех (увы, нередких) случаях, когда они шли вразрез с указаниями разума или просто не имели за собой его согласия и санкции. Если, однако, он отказывался сопровождать софистов до крайних пределов их отрицательно-критической мысли, то он гораздо дальше их пошел в тех выводах, которые, казалось, непосредственно вытекали из их положительного тезиса о значении сознательного начала в нравственности и нравственном поведении. Ибо для Сократа это сознательное начало было не только главным руководящим принципом в нравственной жизни личности, но и единственным мерилom того, что принято называть нравственным поступком; другими словами, нравственность, по его мнению, не только должна покоиться на ясно и отчетливо продуманных и усвоенных принципах, но она и становится таковою лишь постольку, поскольку эти принципы входят сознательно-творческим элементом в наше поведение. Сократу недостаточно было, чтобы тот или другой поступок личности был нравствен в силу унаследованных инстинктов или выработанных привычек, или по случайности: он требовал большего, а именно: чтобы эта личность отдавала себе всякий раз ясный отчет, почему она поступила так, а не иначе. Без этого нравственности в полном значении этого слова нет, и как бы человек хорошо ни поступал по тем или другим причинам, он, если не поступил сознательно, без ясного понимания, почему и как, остается с точки зрения истинной этики таким же безнравственным, как если бы поступал плохо. Разве, спрашивает наш философ, можем мы назвать грамотным того человека, который по счастливой случайности, но не имея представления о законах правописания, напишет какое-нибудь слово правильно? Разве можем мы признать кого-либо математиком исключительно потому, что он по какому-то наитию, а не в силу твердо усвоенного знания, угадал, что $5 \times 5 = 25$? Конечно, нет; а если так, если для того, чтобы иметь право называться грамотным или математиком, недостаточно еще простого и случайного факта правильно написанного слова или верного ответа на предложенный арифметический вопрос, но требуются сверх и помимо того еще и соответствующие знанию причины и цели, так чтобы акт находился в исключительной зависимости от сознательной воли, то и нравственным мы можем назвать лишь того, кто поступает правильно не под влиянием темных инстинктов и не по случайности, определяемой игрою слепых

обстоятельств, а в силу известных требований сознательного разума, который усвоил надлежащие принципы и направляет согласно с ними практическое поведение. Только там, где налицо имеется сознательное отношение к вещам, или, если хотите, холодный, расчет рассудка, можем мы говорить о нравственности: в противном случае нам пришлось бы признавать таковую за теми людьми и даже в таких случаях, когда о ней не может быть и речи, – как, например, когда люди, в припадке умопомешательства, решаются и совершают геройские поступки.

Отсюда вытекает первый основной принцип Сократовой этики о тождестве добродетели со знанием. Добродетель как источник или творческое начало нравственности представляет такой же предмет изучения, как и грамота или арифметика, и только тот может быть по праву назван добродетельным, или, что то же, нравственным, кто этим предметом так же вполне и сознательно владеет, как грамотный – грамотою и математик – арифметикою. При этом даже не важно, каковы на самом деле будут его поступки, – нравственны или нет: пусть они будут безнравственны, но если человек, совершивший их, обладает необходимым знанием добродетели, то мы его по справедливости назовем нравственным. “Не кажется ли тебе, – обращается Сократ к одному из своих друзей с целью выяснить этот характерный пункт, – что, подобно тому, как можно выучиться чтению и письму, так можно изучить и знать, что такое справедливость?” – “Пожалуй”.– “А кто, по-твоему, более сведущ: тот ли, кто умышленно читает или пишет с ошибками, Или тот, кто делает это невзначай?” – “Конечно, первый, так как если захочет, то он сможет и читать, и писать правильно”.– “Значит, того, кто умышленно пишет с ошибками, мы назовем более грамотным, нежели того, кто делает это неумышленно, – не так ли?” – “Совершенно верно”.– “Ну, а кто же, по-твоему, из двух скорее знает, что такое справедливость: тот ли, кто лжет и обманывает умышленно, или тот, кто делает это неумышленно?” – “Без сомнения, первый”.– “Но так как того, кто умеет читать и писать правильно, мы назовем более сведущим, нежели того, кто не умеет, то не более ли справедлив тот, кто знает, что такое справедливость, нежели тот, кто не знает?” – “Да”.– “Стало быть, тот, кто обманывает умышленно, более справедлив, нежели тот, кто обманывает неумышленно”.

Мы напрасно искали бы во всей истории этики другого положения, которое бы так резко шло вразрез со всеми нашими нравственными инстинктами и понятиями: не говоря уже о вопиющей софистике, с какою это положение доказывается, одного того факта, что Сократ придает сознательному моменту в совершении проступка значение не только

смягчающего, но даже оправдывающего вину обстоятельства, достаточно, чтобы осудить это положение как глубоко безнравственное, нарушающее основные принципы этики и права. Все же дело вовсе не обстоит так уж скверно, как может показаться с первого взгляда, ибо, по мнению Сократа, человек, обладающий знанием добродетели или, точнее, того, что под нею подразумевается, не может не поступать так, как того требует эта добродетель, так что, зная, например, в чем состоит мужество или умеренность, он всегда будет поступать и жить согласно с указаниями мужества и умеренности. Знать и *не* поступать так, как человек знает, ему следует поступать, казалось Сократу физической невозможностью и логическим противоречием, и если, как оно предполагается в приведенном диалоге, случаи подобного рода все же, по-видимому, имеют место, то можно быть наперед уверенным, что на самом деле это не так, – что с точки зрения достигаемых результатов или целей, имевшихся в виду лицом, совершившим проступок, этот последний вполне отвечает требованиям нашей нравственности. Добродетель и знание тождественны, таким образом, не только в том смысле, что обладание последним дает право на звание нравственного человека, подобно тому, как обладание знанием грамоты дает право на звание грамотного человека, но еще больше в том, что обладание знанием добродетели ведет неизменно и к приложению его на практике. “Скажи мне, Эвтидем, – обращается Сократ к своему молодому другу, – как смотришь ты на благочестие?” – “Как на одну из благороднейших добродетелей”. – “Можешь ли ты определить, кто, по-твоему, благочестив?” – “Тот, кто почитает богов”. – “Но позволительно ли почитать богов, как кто вздумает?” – “Конечно, нет; на то существуют известные законы, согласно с которыми мы и обязаны их почитать”. – “Так. Следовательно, тот, кто знает эти законы, знает вместе с тем и как надлежит почитать богов, не правда ли?” – “Да, конечно”. – “Но как, по-твоему: тот, кто знает, как надлежит почитать богов, станет ли думать, что ему следует почитать их иначе, чем, он знает, надлежит?” – “Конечно, нет”. – “Ане подумав этого, он будет почитать богов, как, он знает, ему должно?” – “Без сомнения”. – “Стало быть, тот, кто знает, каковы законы относительно почитания богов, будет и почитать их согласно с этими законами?” – “Да, конечно”. – “Но разве тот, кто почитает богов согласно с указаниями законов на этот счет, не почитает их, как должно?” – “Без сомнения”. – “А тот, кто почитает их, как должно, разве не благочестив?” – “Конечно”. – “Следовательно, тот лишь может быть определен благочестивым человеком, кто знает, что согласно с законами о почитании богов, – не так ли?” – “Совершенно верно”.

Из подчеркнутых нами фраз ясно видно, как мало мог себе представить Сократ, чтобы человек поступал иначе, чем того требует его знание: как мы уже сказали, по его мнению, достаточно лишь знать, что такое та или другая добродетель, чтоб непременно положить ее в основу практического поведения и тем стать добродетельным человеком не только в теории, но и на деле. Знать, в чем заключается, например, почтение к родителям и, вместе с тем или вопреки этому, не почитать их – казалось ему немыслимым подобно тому, как казалось немыслимым, чтобы человек, зная таблицу умножения, вместе с тем игнорировал это знание и решал арифметические задачи вопреки указаниям его. Такая уверенность в полнейшем тождестве теории и практики до такой степени противоречит нашему ежедневному опыту, показывающему, что люди могут отлично знать, что нравственно и что нет, и все-таки поступать вразрез с этим знанием; что мы готовы принять Сократову теорию за грубый парадокс, который мог иметь успех, пожалуй, в те времена, но никак не в наши. Мы и в истории, и в обыденной жизни встречаем многочисленные примеры людей, стоящих на высоте современного образования и культуры, которые превосходно сознают безнравственность того или другого поступка и все-таки совершают его не столько по слабости воли, сколько потому, что он приносит им известную выгоду, известную пользу. Повторяя давным-давно уже избитую сентенцию, люди всегда и повсюду стремятся к счастью, и там, где они убеждены, что данный путь наиболее верно ведет к нему, они редко останавливаются перед теоретическими соображениями о том, нравствен ли он или нет. Добродетель, как известно, далеко не всегда ведет за собою награду, а очень часто одни лишь лишения и страдания: естественно, что многие сознательно предпочитают порок, если он обеспечивает им известную долю земных благ и наслаждений.

Что так, или приблизительно так, происходит на белом свете, каждый из нас довольно хорошо знает, и Сократ, наверное, менее всех стал бы отрицать это; но он мог бы нам возразить следующее: “Я вполне согласен с тем, что нормою поведения людей являются их понятия о счастье и что, следовательно, в тех случаях, когда данная добродетель, в их мнении, не только не ведет к этому счастью, но еще, напротив, разрушает его, они постараются всеми силами не поступать так, как она требует. Мало того, я даже готов признать, что это отклонение от пути, предначертанного добродетелью, будет иной раз тем резче и полнее, чем отчетливее личность понимает, в чем эта добродетель заключается, так что, например, считая смерть за величайшее зло, она тем решительнее будет отказываться поступать мужественно, а следовательно, тем скорее будет вести себя

трусливо, чем яснее она сознает, что мужество требует постоянного риска, а часто и готовности идти на верную смерть. Мое убеждение, следовательно, что человек, знающий, что разумеется под добродетелью, будет непременно и практиковать ее, кажется поэтому чрезвычайно ошибочным и даже противоречивым, но это только так *кажется*, потому что именно то обстоятельство, о котором, вы думаете, моя теория разбивается вдребезги, и является лучшей опорой для нее. В самом деле, вы говорите, что добродетель нередко игнорируется, потому что она не всегда ведет к счастью, но я именно это оспариваю, утверждая, что нет пути, более надежного и более непосредственно ведущего к нему, этому счастью, чем путь этой самой добродетели. Возьмите любую из них, возьмите хоть умеренность: разве не ясно вам, что обладание ею ведет за собою не только физическое здоровье личности, но еще и душевное ее спокойствие и ясность, дающие ей возможность всегда быть госпожою своих способностей и страстей и тем достичь большего счастья, чем если бы она была подвержена пьянству и другим подобным порокам? Правда, вкусная и обильная пища и питье доставляют немалое наслаждение; но разве это наслаждение может сравниться с теми благами, которыми пользуется человек умеренный в удовлетворении своих appetitов? Кто пользуется большим уважением со стороны своих друзей и сограждан, – умеренный или неумеренный? Кто из них внушает больше доверия людям? Кого из них скорее назначат в полководцы, опекуны или домоправители? Какого раба мы предпочтем и больше оценим – трезвого, например, или пьяницу? Вы молчите, потому что знаете, что все эти преимущества на стороне умеренного. А разве эти преимущества не суть блага? Разве мимолетные удовольствия порока могут пойти в сравнение с ними? Конечно, нет, и то же самое окажется, если возьмем другие примеры, – хотя бы повиновение законам: разве не очевидно, что человек, практикующий эту добродетель, содействует благосостоянию и преуспеянию общества и, будучи сам живою частью этого общества, тем обеспечивает свое личное существование и счастье? Или почтение к родителям, – разве человек, почитающий своих родителей, не пользуется хорошою репутацией среди своих соседей и сограждан и не награждается ли он к тому еще государством и самими богами? Или, взяв даже такую добродетель, как самопознание, это необходимое начало всякой премудрости: кто стал бы оспаривать, что “люди, знающие самих себя, имеют огромные преимущества перед теми, которые себя не знают и которые, обманываясь на свой счет, подвержены через то многочисленным невздам? Ведь те, которые знают самих себя, знают вместе с тем и что им под силу, и умеют

различать между тем, что они в состоянии делать и что нет, а делая то, на что, они знают, они способны, они достигают того, чего им нужно, и живут, таким образом, счастливо; а не берясь за то, на что, они знают, они неспособны, они тем избегают неудач и ведут, таким образом, жизнь без беды и упрека. Кроме того, благодаря этому же знанию самих себя они в состоянии составить себе правильное мнение и о других, так что, вращаясь между ними, они в состоянии пользоваться людьми, как для них полезно. Зато те, которые самих себя не знают и постоянно обманываются в своих силах, не знают и обманываются и в других людях и вещах, так что они, не понимая, что для них полезно, на что они могут решиться, с кем они могут вступить в сношения и т. д., впадают беспрестанно в ошибки, не достигают блага и причиняют себе одно лишь зло и горе”. Словом, куда бы вы ни взглянули, какую бы добродетель вы ни рассматривали, вы везде увидите одно: нет иного залога истинному счастью, кроме как в добродетели, и нет поведения, которое бы так неизменно сопровождалось благом, или поступка, который был бы столь выгоден для человека, как тот, который согласен с требованиями нравственности. Здесь-то и кроется коренная ошибка аргументации, которою вы думали опровергнуть мое положение о тождестве добродетели со знанием: люди действительно отклоняются от пути добродетели, но не оттого, что он на самом деле не благодетелен, а потому что они по неразумению, по непониманию, *принимают* его за таковой. Если бы они хорошенько вникли в интересующий нас и их вопрос, то они ясно увидели бы, как тесно связано счастье их с добродетелью и как резко противоречит ему порок; и именно потому, что они, как и все прочие живые существа, желают себе счастья, они и избрали бы истинный путь к нему, то есть добродетель. Тут, в этих двух положениях о тождестве добродетели со знанием и тождестве ее с благом, и кроется, следовательно, тот категорический императив, над выработкою которого так долго и так тщетно бились моралисты всех времен. Взяв, например, мужество, разве не ясно каждому, что стоит лишь людям ясно и точно понять, что оно большее благо, нежели трусость, то они неуклонно будут стремиться к первому и всячески избегать второй? Ибо кто, как вы сами уже говорили, стремится к тому, что, по его мнению, принесет ему один лишь вред, и кто не станет поступать так, как того требует его же собственное благо? Только и нужно, чтобы человек составил себе ясное понятие о природе добродетели, а последняя уже явится сама собою как результат отождествления ее с благом, – этой конечною целью всех наших стремлений и всей нашей деятельности. Только там, где ясного понимания всеблагости добродетели нет, где люди принимают за путь к счастью то, что вовсе не ведет к нему и

обратно, имеет место та безнравственность, которую мы привыкли встречать в жизни на каждом шагу. Нелогичность мышления, ошибка в расчете, неверность сравнительной оценки средств и целей – вот источники безнравственных поступков и даже, иной раз, убеждений: уничтожьте одни – исчезнут и другие.

Так мог бы нам ответить и действительно отвечал Сократ: в ряд с первым принципом о тождестве добродетели со знанием он ставил другой – о тождестве ее с благом, и неустанно повторял, что именно потому, что человек постоянно, при всех своих поступках, имеет в виду счастье, он непременно будет следовать добродетели как наиболее верному средству к достижению его. Известная басня о выборе Геркулеса, заимствованная у Продикка, одного из выдающихся софистов того времени, и служила ему любимой иллюстрацией на эту тему. Эта басня рассказывает, как молодой Геркулес – это воплощение не только физической мощи, но и нравственной красоты – сидел однажды у перекрестка, крепко задумавшись о том, какой путь ему избрать: путь ли добродетели или порока. И вот перед ним предстали две женщины: одна – скромная, привлекательная и облаченная в простую белую одежду, а другая – пышная и развратная красавица с наглым лицом и вызывающими манерами, одетая в прозрачную ткань. Последняя, опередив свою подругу и выбежав вперед, стала манить героя следовать за собою. Ее путь полон цветов и веселья; она обещала ему бурную жизнь, преисполненную нескончаемыми забавами и чувственными наслаждениями, где человек не ведал ни труда, ни забот, ни нужды, где дни проходили в беспечных и жгучих радостях, где над головою не тяготели ни зависимость от других, ни ответственность перед самим собою. Она звала себя Счастлием, хотя у других почему-то слыла под именем Порока. Другая же, олицетворявшая добродетель, не могла герою обещать ничего подобного: ее путь полон трудов, лишений и обязанностей и требует беспрестанной заботы о богах и людях, умиловления первых и помощи последним, работы на себя и работы на других. Зато она обещала сделать его честным человеком и полезным гражданином и доставить ему спокойную и чистую совесть, целомудренную мысль, высокое сознание хорошо проводимой жизни, всеобщее уважение и добрую память после смерти. И Геркулес, естественно, избрал путь добродетели как более благий, нежели другой.

Все это звучит, конечно, наивно и даже несколько тривиально; все же мы не должны упускать из виду глубокого значения, которое эти теории должны были иметь для того времени, жившего сплошным скептицизмом и цинически относившегося к нравственности как к фикции, придуманной

своекорыстными жрецами и поэтами с целью унижения и порабощения человеческой личности. В подобную пору заявить, что добродетель не только не создание злобствующей фантазии, как то думали некоторые beaux esprits^[5] того времени, но, наоборот, величайшее и реальное благо – было как нельзя более своевременным протестом против начавшегося нравственного разложения афинского общества, и Сократ, подняв этот протест, явился выразителем лучших и наиболее здоровых сил своего народа.

Вместе с тем, даже оставаясь всецело на точке зрения того времени, мы не можем не заметить некоторых слабых сторон в Сократовом миросозерцании. Ибо не касаясь уже принципиального вопроса, насколько вообще позволительно, – и с теоретической, и с практической точки зрения, – отождествлять нравственность с личным благом индивида к совершенному исключению общественного элемента, мы вправе спросить, не противоречит ли Сократ, строя свое учение на принципе лично эгоистического счастья, основному своему взгляду на добродетель не как на средство, а как на цель, и притом высшую цель жизни? И дальше: не вводит ли он сам этим тлетворный зародыш в свою систему, которым не замедлят впоследствии воспользоваться эпикурейцы, циники и стоики, – каждые из которых будут претендовать на Сократово происхождение? Мудрец этого не замечал и, со страстной настойчивостью глубоко убежденного человека, продолжал утверждать любимый тезис и основывать этику на своекорыстии человека, для которого нет цели выше личного блага и который и добродетель-то самое избирает лишь оттого, что она ведет к этой цели. Целесообразность является, таким образом, как бы высшим оправданием и рекомендацией нравственности, и ею определяется даже то благо, с которым она, эта нравственность, отождествляется. Для него, как и для всех его современников, переживших Sturm und Drang^[6] предыдущего поколения, абсолютное и неизменное погубило навеки вместе со всем старинным миросозерцанием, и их место заняли если не субъективные мнения индивида школы Протагора, то, во всяком случае, относительное и изменчивое, определяющееся отдельно в каждом конкретном случае. Благо, согласно с этим, равно как и красота, перестали уже существовать сами в себе, как нечто раз навсегда определенное и независимое от других вещей; они стали выражать лишь отношение, беспрестанно меняющееся, между двумя или несколькими вещами, стоящими одна от другой в зависимости средств и целей. Сократ поэтому учил, что всякая вещь хороша и прекрасна лишь по отношению к тем

целям, к которым она приспособлена, так что даже мусорный ящик может быть прекрасною вещью, а золотой щит – уродливою, если первый отлично служит своему назначению, а второй – нет. “Что является благом на случай голода, – иллюстрировал он, – может оказаться злом в применении к лихорадке и, наоборот, что представляет благо на случай лихорадки, может оказаться злом на случай голода; точно так же и то, что полезно для состязания в борьбе, не всегда является таковым в состязаниях в беге и обратно”. Целесообразность или, что все равно, полезность является, стало быть, единственным критерием блага, и с этой точки зрения даже такие вещи, как здоровье или мудрость, не могут претендовать на звание блага всегда и неизменно. Разве, спрашивает наш философ, здоровье не является злом, а нездоровье благом, когда, например, община предпринимает несправедливый и неудачный поход и в нем принимают участие все здоровые члены ее? Они разделяют безнравственность предприятия и теряют жизнь и свободу, в то время как другие, оставшись по старости или по нездоровью дома, сохраняют и ту, и другую. А мудрость, – разве мудрость не возбуждает иной раз зависти и других неприязненных чувств, которые отзываются весьма плачевно на человеке, обладающем ею? Разве, например, Паламед не был убит Одиссеем из ревности к его уму и влиянию? Благо, словом, есть не что иное, как целесообразность или полезность вещи, и, в этическом отношении, оно разрешается, в сущности, в пользу или выгоду личности на тот или другой случай! Здесь, между прочим, и кроется главный недостаток Сократовой этики: доказывая, что добродетель, а потому нравственность руководится и должна по необходимости руководиться благом, из нее проистекающим, и объясняя вслед за этим, что под благом следует разуметь не что иное, как выгоду индивидуума, философ сводит нравственность на узко утилитарную почву и превращает ее в орудие эвдемонизма (философии личного счастья).

Такова в общих чертах Сократова философия в том неполном и несовершенном виде, в каком она дошла до нас. Но прежде чем перейти к приемам и методу нашего философа, нам нужно сказать еще пару слов по некоторым второстепенным в теоретическом отношении вопросам. Во-первых, если добродетель и знание тождественны, так что всякое изменение в ту или другую сторону в последнем неминуемо ведет за собою соответствующее изменение и в первой, то знание не есть лишь необходимое условие нравственности: оно есть сама нравственность, сама добродетель, исчерпывая ее содержание и констатируя ее тем, что она есть. Без знания, таким образом, нравственность не только не совершенна, но она прямо-таки не существует, и наоборот, когда знание полно, полна и

нравственность. Отсюда первое парадоксальное следствие, что нравственность может быть преподаваема и изучаема как научная истина. Во-вторых же, если добродетель есть благо, то она должна быть едина, как едино благо личности, под какими формами оно ни существовало бы; отсюда – второе парадоксальное следствие, что умеренность, справедливость, мужество, благочестие, повиновение и пр. представляют, в сущности, одно и то же: это все – одна добродетель, но под разными точками зрения.

Но важнее всего, однако, следующее: допустим, что благочестие, справедливость и пр. признаны нами за добродетели и, в силу полезности их, кладутся нами в основу нашего поведения, но достаточно ли одного этого, чтобы поведение было нравственным? Не необходимо ли еще знать, в чем данная добродетель состоит, чего она от нас требует и каковы, следовательно, должны быть наши поступки, чтобы они не шли вразрез с ее предписаниями, а стало быть, и не против нашего блага? Ведь мы можем прекрасно знать, что благочестие, например, есть добродетель и неминуемо влечет за собою такое огромное благо, как благоволение людей и богов; мы можем поэтому искренно и от души желать следовать ее велениям; но, не зная, в чем благочестие должно выражаться и каковы должны быть наши поступки, чтобы быть благочестивыми, мы можем очутиться в таком же положении, как если бы даже не верили в то, что благочестие есть добродетель, а потому благо. Добродетель ведь, как сам Сократ говорил, есть знание – знание того, что под нею подразумевается; отсюда ясно, как важно добиться его как *conditio sine qua non*^[7] нашей этики и морали. Но что такое знание? Как его достичь? Ответ на эти вопросы дают нам Сократовы определения и метод.

Собственно говоря, ни один мыслитель до Сократа не задавал себе вопроса о том, что такое знание и при каких условиях оно возможно. Основывая свои общественно-политические отношения на застывших традициях, получая свои этические понятия и идеи готовыми из уст оракулов и поэтов и занимаясь произвольными умозрениями в той области космофизических наук, которые настоятельно требовали наблюдения и опыта, эти мыслители никогда не занимались анализом своих взглядов и теорий и не подозревали даже, что то, что они считают знанием, может оказаться предрассудком, призраком, мнением. Они брали вещи, как они им представлялись, – той стороной их, которая наиболее ярко бросалась в глаза, и смотрели на факты в том условном свете, в каком они воспринимались не критическим большинством. Мир и жизнь не были для них тайною, которая для своего разрешения требует тяжелой работы

мысли; в своей душевной простоте они даже не знали, что тайна существует, и с наивностью дитяти и самоуверенностью невежды они принимали за золото знания то, что было лишь блесками воображения и мишурою преданий.

Сократ был первый, кто понял, что знание есть нечто большее, чем простое мнение. По свидетельству Аристотеля, он был первый, кто стал пользоваться тем могучим подспорьем в деле познания и мышления, которое на современном языке носит название логического определения. Для него знать вещь значило определять ее, то есть, раскрыв содержание понятия данной вещи, исключить все случайные и выделить в одно органическое целое те ее признаки, которые сопровождают ее постоянно, несмотря на перемены в положениях и отношениях, в которые она поставлена. Правда, уже у Демокрита, а особенно у Пифагора, встречаем мы зачатки определений, но у них весь логический процесс, вырабатывавший их, основывается не на анализе свойств вещи, а на ее уподоблении или символизации. Исходя, например, из того, что справедливость состоит в ровном и одинаковом отношении ко всем и во всех случаях и что в квадрате все четыре стороны равны и перпендикулярны, Пифагор символизировал справедливость и определял ее как квадрат. Сократ далеко перерос младенческое мышление подобного рода и в своих определениях искал не внешних аналогий, а сущности вещей, то есть необходимых их свойств и качеств. С этой точки зрения его и можно назвать творцом логики как науки: дальнейшее развитие ее в этом направлении было лишь дальнейшим усовершенствованием того, что дал Сократ.

Практическое значение этих определений, как читатель может легко понять, огромно: это – та конечная цель, к которой стремилась вся Сократова система философии. Дать ряд определений: благочестия как знания тех законов, согласно с которыми мы должны почитать богов; справедливости как знания тех правил, согласно с которыми мы должны жить и поступать с людьми; мужества как знания того, чего следует и чего не следует опасаться, и так далее, – значит придать философии ту жизненность, ту приложимость, без которых ее значение было бы весьма ничтожно. Определения являются, таким образом, органическим завершением всей Сократовой системы, служа как бы звеньями, соединяющими воедино теорию и практику, науку и жизнь, этику и мораль. Все предыдущее было лишь установлением общей точки зрения, с которой надлежит рассматривать нравственные понятия и отношения людей: определениями эти самые понятия и отношения устанавливаются,

составляя в своей совокупности как бы кодекс для практического руководства.

Опишем же теперь вкратце метод, которым Сократ пользовался для выработки этих определений. Сократ не преподносил своих истин готовыми, но, считая, что только то знание единственно прочно и ценно, которое добыто самим мыслящим субъектом, он заставлял своих собеседников принимать деятельное участие в установлении посылок, в выведении заключений, в проверке положений – словом, во всем логическом процессе аргументации. То был знаменитый его диалектический метод – метод перекрестных вопросов, ответов, возражений, поправок и пр. Ум человека, по мнению нашего философа, чреват истинами, которые требуют лишь известного ухода и, в крайнем случае, операции, чтобы явиться на свет Божий. Эти истины подобны младенцам, скрытым во чреве матери, и роль философа в том и состоит, чтобы помочь родильнице-разуму в ее родах. Оттого Сократ любил себя сравнивать с акушером, который сам не рождает, но помогает рожать другим, и диалектический метод и был тем инструментом, при помощи которого он извлекал истины из умов своих собеседников. Ясно поэтому, что он не мог выдвигать вперед своего собственного мнения: собеседник его должен был сам прийти до него, уподобляясь роженице. Оттого исходной точкою Сократа всегда почти служило общепринятое мнение по данному вопросу, которое затем, целым рядом проверок и поправок, постепенно изменялось так, чтобы охватить те или другие факты и, наконец, получить то содержание и ту форму, которые желал Сократ. Для иллюстрации приведем из Ксенофонта один из наиболее характерных разговоров, который Сократ имел с молодым, но самоуверенным Эвтидемом. Заполучив от своего собеседника уверение, что он отлично знает, что такое справедливость и что нет, Сократ просит его объяснить, что он понимает под этими терминами. “Так вот, хочешь, – говорит он, – мы здесь напишем альфу, а здесь – дельту, и все, что справедливо, мы поместим под дельту, а что несправедливо – под альфу”.– “С удовольствием”.– “Ну, сделано. Теперь скажи мне: существует ли на земле ложь?” – “Конечно”.– “Под какую букву поместить ее?” – “Под альфу, несомненно”.– “А обман существует?” – “Тоже”.– “Куда ее прикажешь поместить?” – “Туда же, что и ложь”.– “А куда отнесем мы такие поступки, как, например, обращение людей в рабство, к справедливости?” – “О, нет: под альфу, конечно”.– “Но скажи, – после минутного молчания спросил вдруг Сократ, – если полководец обратит в рабство нечестивый и неприятельский народ, будет ли этот поступок несправедливый?” – “О, нет”.– “Не назовем ли мы этот

поступок скорее справедливым?” – “Конечно”.– “А если в военное время он станет обманывать врагов, – справедливо ли это будет или нет?” – “Без сомнения, справедливо”.– “А если увезет их имущество?” – “Тоже справедливо. Но, – продолжает Эвтидем, – я думал, что, предлагая свои вопросы, ты имеешь в виду наши отношения к друзьям только”.– “Очень жаль, но все равно. Нам, стало быть, нужно сделать кое-какие поправки и поместить под дельту то, что было отнесено к альфе?” – “Да, конечно”.– “Значит, ты согласен, что, размещая вышеозначенные поступки под разные рубрики, мы должны еще руководствоваться тем соображением, что для врагов они будут справедливы, а по отношению к друзьям – несправедливы и что по отношению к последним нам вообще надлежит быть сколь возможно прямее?” – “Без сомнения, так”.– “Ну хорошо. Но что если этот самый полководец, заметив в своей армии признаки малодушия, вздумает обмануть ее ложным известием о скором прибытии помощи и обозов и тем самым возвратит ей мужество и уверенность в своих силах? Будет это справедливо или несправедливо?” – “Думаю, что справедливо”.– “А если отец, когда сын его болен, но не хочет принимать лекарство, обманет его и подаст ему микстуру под видом вина и тем возвратит ему здоровье, – отнесем ли мы этот поступок к дельте или альфе?” – “Конечно, к дельте”.– “А если кто-нибудь, видя своего друга в большом отчаянии и боясь со стороны его каких-нибудь безрассудных поступков, украдет у него меч или другое оружие, – будет это справедливо или нет?” – “Конечно, справедливо”.– “В таком случае, ты признаешь, что даже по отношению к друзьям мы не всегда должны быть прямы и откровенны?” – “Да, признаю и беру назад то, что я сказал раньше”.

На этом диалог не кончается, но, к сожалению, он и потом не доходит до определенно сформулированных и положительных выводов; тем не менее, и приведенного отрывка достаточно, чтоб понять сущность Сократова метода: она заключается в достижении положительных заключений путем отрицательных инстанций, а это, как известно, составляет сущность и индуктивного метода. Но все же это не значит, что Сократ предвосхитил метод современной науки, как его разработали сначала Аристотель, а потом, еще больше, Бэкон: его отрицательные инстанции были весьма сомнительного достоинства, основываясь не на тщательно собранных и проверенных фактах надлежащего количества и качества, а, главным образом, на аналогиях, подчас даже поверхностных, и фактах, взятых наобум из ежедневной практической жизни.

Но несмотря на такие серьезные недостатки, диалектический метод произвел целую революцию в приемах греческого мышления: истина

перестала приниматься на веру, в силу ли окружающего ее авторитета или “горячего слова убеждения”; она стала объектом разумного понимания, требующим сознательной работы мысли, и покоилась на критически выработанных устоях. С другой же стороны, стал невозможен и догматизм: отрицательный процесс Сократова метода (эленх), подобно тем химическим реагентам, против которых могут устоять одни лишь благородные металлы, безжалостно разрушал все, что покоилось на глиняных ногах: мнения, не имевшие за собою ничего, кроме популярности или привычки, падали и разбивались как истуканы, сброшенные неверующей рукою, и только те из них имели шансы уцелеть, которые могли указать на происхождение более высокое, нежели предрассудок.

При этом происходили чрезвычайно драматические сцены, которые так характеризуют приемы нашего философа, что знакомство с общим характером их не только любопытно, но и весьма важно. Обыкновенно дело происходило таким образом. Сократ подходит к какому-нибудь известному ритору, окруженному многочисленной свитой благоговееющих учеников, и смиренно просит его объяснить, что следует понимать под той или другой добродетелью. Тот, уверенный в своих силах, редко задумывается и с апломбом дает первое всплывшее ему на ум определение. Сократу больше и не нужно: все с тем же видом простодушной невинности он выводит из данного ему определения какое-нибудь положение и спрашивает ратора, верно ли оно? Ритор соглашается; тогда Сократ подводит под это положение другое, третье и т. д. – все логически вытекающие одно из другого. Доведши своего собеседника до какого-нибудь желанного ему, Сократу, заключения, по счету, скажем, четвертого, наш философ вдруг, без всякого изменения в тоне голоса, указывает на общеизвестный факт, который совершенно противоречит последнему из найденных положений: олимпийский собеседник чувствует неловкость и после некоторых, но напрасных усилий затемнить вопрос софизмами принужден в конце концов отказаться от самого положения. Тогда Сократ добродушно приводит другой факт, который уже опровергает предыдущее, третье, положение: противник еще более смущен, присутствующая толпа начинает уже посмеиваться, – и опять, после некоторых тщетных усилий выбраться из ямы, ритор принужден взять обратно свое положение № 3. Сократ идет дальше и – быть может, уже с явной иронией, – преподносит своему растерявшемуся противнику другой факт, который противоречит положению второму. Ритор чувствует как бы чьи-то руки у горла, бледнеет, краснеет и наконец отступает к своему первоначальному определению. К сожалению, Сократ не унимается и тем же путем, что и прежде, доказывает

ошибочность и этого определения. Ритор совершенно сбит с толку, он чувствует уже физическую усталость и с каким-то геройским отчаянием сознается в небрежности и вносит поправку в данное им определение. Но и это напрасно: Сократ держит его как клещами, и куда противник ни поворачивается, – везде он встречает ряд ужаснейших фактов, разбивающих его определения в пух и прах. После пары часов пренеприятнейшего нравственного состояния ритор должен умолкнуть под действием Сократовых орудий и либо сознаться в своем невежестве, либо с позором и в смущении уйти домой, сопровождаемый хохотом публики.

Так работал Сократов метод – орудие холодное, но благотворное, как ланцет: он заставлял людей сознавать свое невежество и таким образом сделать первый и главный шаг к тому самопознанию, которое Сократ считал за необходимое условие человеческой мудрости и за существенный залог человеческого счастья. Вместе с тем он оскорблял людей в их лучших и худших чувствах: их священнейшие верования вырывались и осмеивались, их самолюбию наносились удары, их самоуважение подвергалось испытанию, и насмешки и остроты вкруг стоящей толпы довершали остальное. Ненависть против философского сатира вселялась в сердца людей, и эта ненависть не замедлила дать свои плоды.

В заключение упомянем о религиозных и политических убеждениях Сократа. *По-видимому*, его понятия в религии не шли дальше общепринятых. Он твердо верил в оракулов, знамения и жертвоприношения и вменял каждому гражданину в обязанность почитать национальных богов в установленной форме. Но это только по-видимому. Мы не решимся сказать, что он возвысился до безусловного признания Единого Бога и до ясной концепции о бессмертии души и загробной жизни; но несомненно, что эти идеи уже носились, хотя и смутно, в его уме и что его понятия во всяком случае стояли неизмеримо выше, нежели у кого бы то ни было из его современников. Греческое многобожие с его наивным антропоморфизмом перестало его удовлетворять: он уже видел в Божестве Разумного Творца и Правителя вселенной, к которому понятия нашего конечного разума совсем почти неприложимы. Он учил, например, что никто не обязан делать богам приношения не по своим средствам, ибо в глазах божества тот, кто подносит малое из малых средств, ничуть не хуже того, кто подносит большое из крупных средств: в противном случае, злые люди часто, а богатые люди постоянно были бы угодны небу. Боги в дарах не нуждаются, а если все-таки интересуются ими, то лишь постольку, поскольку в них выражается благочестие подносящего. Точно так же считал он непозволительным и богохульным просить Бога о тех или других

определенных благах, вроде богатства или власти или даже здоровья: он полагал, что по своей бесконечной доброте и всеведению боги лучше, чем люди, знают, что есть благо вообще и что есть благо в частности для того или другого человека, на тот или другой случай. Кроме того, стоя на почве разумного понимания, а не авторитетов или традиций, Сократ первый систематически стал доказывать бытие и всеблагость Бога тем способом, который позднее, под именем телеологического, получил такое широкое значение в христианском богословии. Исходя из того, что разумное и целесообразное не может не предполагать творящего и упорядочивающего разума, подобно тому, как произведения литературы и искусства не могут не предполагать Гомера, Софокла, Поликтета, Зевксиса и других, Сократ старается показать эту разумность и целесообразность в природе, ее устройстве и явлениях. Он указывает на наши органы чувств, так чудно приспособленные к восприятию различных впечатлений, на глаза, приспособленные к зрению, ноздри – к обонянию, язык – к вкусу, веки – к закрыванию глаз на ночь, ресницы – к предохранению их от ветра, брови – к защите их от лобного пота, и т. д. Он дальше описывает, как мудро расположены все эти органы и как разумно устроены наши инстинкты и страсти, а затем переходит к доказательству того, что все это имеет в виду благо человека и ничье другое. Он говорит о животном царстве, предназначенном в пищу и помощь человеку, о солнце и планетах, производящих перемены времен года и указывающих нам время днем и ночью, о стихиях, без которых не только не были бы возможны ремесла и прочие занятия, но и сама жизнь, о вертикальном положении человеческого тела, дающем возможность видеть все перед собою и притом на далекое расстояние, на различные части нашего тела, как руки, на нашу способность все запоминать и передавать наши мысли другому, – и из всего этого, в связи с очевидными фактами оракулов, знамений и других форм откровения, выводит заключение о том, что боги не только существуют, но и заботятся о нас, как об избранных творения.

Нам это все не покажется ни особенно убедительным, ни даже оригинальным, но оно было таким, когда на площадях Афин перед толпою слушателей, религиозные концепции которых не поднимались выше Олимпа, Сократ с обыною своей логикой и силою речи впервые стал развивать этот аргумент о всепроникающем и всеустраивающем Божественном Разуме. Для среднего ума того времени такое абстрактное мышление было не под силу, и действительно оно было плохо понято и, как увидим, навлекло на Сократа обвинение в ереси.

Что же касается его общественно-политических взглядов, то при

оценке их нам не следует упускать из виду того своеобразного характера, какой носила тогдашняя эпоха. Афинская полития была еще, по-видимому, в полном цвету: все старания и попытки поземельных классов устранить с политической арены народную массу и поставить у кормила власти аристократическую олигархию, казалось, были бессильны надломить крепость гражданского самосознания; заговоры их оканчивались всякий раз плачевным фиаско, и народ все еще продолжал быть носителем державности как в конституционной теории, так и на практике государственной жизни. Вместе с тем, под разлагающим влиянием денежного хозяйства, обратившего одну часть населения в алчную коммерческую буржуазию, а другую – в паразитическую городскую чернь, устои афинского общества незаметным, но роковым образом стали подтачиваться нравственной и политической деморализацией, и на общественном горизонте стала все яснее и яснее вырисовываться надвигающаяся тень деспотизма и рабства. Людьюми стало овладевать безотчетное беспокойство, и те из них, которые обладали достаточною проницательностью, чтобы видеть, к какой беспросветной бездне неуклонно стремится общество, стали крепко задумываться над причинами этого печального явления и над мерами, которые могли бы приостановить его рост или даже всецело устранить его. Им начинало казаться, что корни зла, настоящего и грядущего, следует искать в той неподготовленности к политической жизни и разрешению задач государственного правления, которую обнаруживали и, по природе своей, должны были обнаруживать те и другие из существующих классов общества – как низшие, благодаря невежеству и легкомыслию, на которые они осуждены своим образом жизни и родом деятельности, так и высшие, ослепляемые честолюбием и властолюбием. Ни демократия поэтому, ни олигархия не годятся по существу своему как формы правления, и в чьи бы объятия ни кинулось государство в поисках благополучия или хотя бы устойчивости, оно не найдет их ни в народной массе, ни в богатых классах. Спасение возможно лишь в одном случае, а именно тогда, когда у государственного руля будут стоять отборнейшие, лучшие и образованнейшие люди – “аристократия” в настоящем и буквальном значении этого слова. Пусть это идет вразрез с ходячими теориями о народовластии или правах собственности, но в мире общественном, как в мире физическом, нам приходится считаться не с отвлеченными принципами, а с конкретными фактами, которые слишком часто учат совсем иному, чем первые.

Платон, как мы знаем, был первый, кто сформулировал эти взгляды с ясностью и точностью систематического мыслителя; но учителем его был

Сократ. Для него, Сократа, как и для всякого грека того времени, личность отдельно от общества и общественных интересов казалась невысказанной, и, в противоположность позднейшим мудрецам из стоической и эпикурейской школ, он неустанно требовал, чтобы каждый гражданин нес какую-нибудь общественную службу в той или другой форме. Его концепции о призвании и ответственности политического деятеля были столь высоки, что он требовал специального образования и подготовки для всех тех, кто хотел бы посвятить себя государственным делам, и он готов был устранить от непосредственного заведования политикой – внешнею и внутреннею – всякого, кто по своей неспособности или другим причинам мог бы принести своей деятельностью больше вреда, нежели пользы. Вместе с тем эти же самые высокие концепции были источником его отрицательного отношения к господствовавшей форме правления. Так, например, он зло смеялся над теми теоретиками демократии, которые считали способ выбора должностных лиц посредством жребия из всей народной массы наиболее разумным и целесообразным. “Разве, – говорил он, – мы выбираем таким путем кормчего, флейтиста, архитектора или другого какого специалиста? А ведь ошибки, которые они могут совершить при выполнении своих обязанностей, ничтожны в сравнении с ошибками государственных людей!” Ему казалось смешным и нелепым вручать заботу о безопасности и благополучии общины “невежественной городской черни”, и его презрение к народному собранию, состоявшему из нее, часто переходило за должные границы. Обращаясь к Хармиду, стеснявшемуся выступить с речью перед публикой, Сократ ему говорит: “Я должен напомнить тебе, что в то время, как ты не робея говоришь перед умнейшим и сильнейшим, ты стесняешься говорить перед глупейшими и слабейшими. Неужели ты робеешь перед кожевниками, сапожниками, плотниками, кузнецами, матросами и рыночными торговцами, размышляющими лишь о том, как бы продать подороже и купить подешевле? А ведь только из таких и состоит народное собрание”. “Я вам должен сказать откровенно, – говорит он народу на суде, – и вы не обижайтесь: в виду бесчисленных беззаконий и несправедливостей, царящих в обществе, ни один человек, не соглашающийся с толпою или выступающий против нее, не может рассчитывать на безопасность. Тот, кто борется за справедливость, но вместе с тем дорожит своей шкурою, должен замкнуться на частной жизни и не вступать в публичную!”

При всем том, однако, нам не следует забывать и оборотной стороны медали. Он никогда не думал отнимать у народа державности, а напротив, считал народную санкцию законам и мероприятиям правителей за

необходимое условие общественного благополучия и прогресса. Всякое правительство, в чьих бы руках оно ни находилось – аристократии ли или плутократии, – которое правит государством с согласия народа и по законам, им установленным, он считает нормальным; всякое же другое он называет тиранией – этим страшным и зловещим для афинского уха именем. И, что всего важнее, эти законы как выражение коллективной воли народа занимали в его политическом мирозерцании такое высокое место, что являлись чуть ли не единственными источниками права, – даже больше, синонимом справедливости. “По-твоему, значит, – обращается к Сократу собеседник его, – поступать согласно с законами то же, что и быть справедливым?” – “Именно”. – “Как же так?” – “А вот как. Что представляют из себя законы государства, – знаешь?” – “Знаю”. – “А что?” – “Те постановления, которыми граждане, собравшись вместе, определили, что следует и чего не следует делать”. – “Но разве, по-твоему, человек, поступающий согласно с этими постановлениями, не поступает согласно с законами, а человек, преступающий эти постановления, не нарушает эти законы?” – “Без сомнения”. – “Но разве не поступает справедливо тот, кто повинуется законам, а несправедливо тот, кто нарушает их?” – “Конечно”. – “А разве мы не можем назвать справедливым того, кто поступает справедливо, а несправедливым того, кто поступает несправедливо?” – “Без сомнения”. – “В таком случае, кто поступает согласно с законами, справедлив, а тот, кто нарушает их, несправедлив”.

Аргументация, должно признаться, мало убедительна, да и само доказываемое положение вряд ли безошибочно; тем не менее, при внимательном рассмотрении этого последнего оно окажется не чем иным, как признанием воли народа за высший человеческий закон, на который нет и не может быть никаких апелляций. Это шло в совершенный унисон с господствовавшими тогда на деле воззрениями и даже практикою и было, таким образом, вполне ортодоксально, но оно, как мы сейчас увидим, не в состоянии было спасти нашего мудреца от обвинений в “политической неблагонадежности”.

ГЛАВА III

Пункты обвинения против Сократа. – Насколько они основательны. – Что способствовало успеху их. – Гордое поведение Сократа на суде. – Обвинительный вердикт и вопрос о наказании. Последняя речь. – Сократ в тюрьме. – Его последний день и смерть

Ни философское учение, ни диалектические приемы Сократа не могли прийти по вкусу большинству его современников. Обозревая глазами XIX века доктрины, а главное, личность этого философа, мы не испытываем ничего, кроме чувства бесконечного уважения и преклонения, и, когда мы узнаем, что этот замечательный человек и мудрец погиб смертью преступника, нашему удивлению нет пределов. Мы забываем, что господствующий в каждый исторический момент уровень понятий и убеждений представляет линию, за которую всякое значительное отклонение в ту или другую сторону считается явлением ненормальным, и не только та личность, которая в своем поведении и убеждениях падает ниже этого уровня, но даже и такая, которая над ним возвышается, переходя за пределы умственного горизонта своего времени, рискует подвергнуться порицанию и даже осуждению. Человечество в общем далеко не оригинально: быть может, благодаря этой неоригинальности и возможна та дисциплина, без которой общество не могло бы существовать; но, вместе с тем, она становится источником тех трагических ситуаций, в которых так часто оказывается личность, значительно опередившая свой век. Так оно бывает и теперь, и так было – в еще большей степени – во время Сократа, когда права, признаваемые за обществом над личностью, были и шире, и многочисленнее, нежели в настоящее время.

И вот в апреле или мае 399 года до Р. Х. – мы в точности не знаем ни числа, ни месяца – три афинских гражданина – один из них богатый и влиятельный демократ кожевник Анит, личный недруг философа, другой – неизвестный нам поэт Мелит, а третий – довольно популярный ритор Ликон – представили на народный суд Гелиастов следующее обвинение против Сократа: “он нарушает законы государства, не признавая национальных богов и вводя новые, а также развращает молодое поколение”.

Что касается первого из этих пунктов, то, вспоминая идеи Сократа о Боге и становясь на точку зрения того века, мы не можем не признать, что

до известной степени он был основателем. Правда, Сократ аккуратно исполнял обязанности, требуемые греческой религией, приносил жертвоприношения и искал совета у прорицателей и оракулов; но его отвлеченные понятия о Божестве как о Верховном Разуме, совершенно недоступном ни нашим взорам, ни нашему уму, шли вразрез с конкретными представлениями его сограждан, создававших своих богов по своему же собственному образу и подобию. Боги античной Греции с их желаниями, страстями, потребностями и слабостями были те же люди, что и сами греки, и только своим бессмертием и некоторыми телесными преимуществами отличались они от обыкновенных человеческих существ. Но как раз это Сократ отрицал – правда, не столько открыто сформулированными мнениями, сколько общим духом своего учения; но люди были достаточно проницательны, чтобы понять такие вещи и без слов, и достаточно близоруки, чтобы, поняв, осудить их как ересь. К тому же злополучный его “демон” был такою же таинственностью для афинян, как и для нас, но в то время, как мы не обращали бы на него никакого внимания или объясняли бы личными особенностями философа, афиняне, как оно и естественно было для того времени, усмотрели в нем новое и неизвестное божество, к которому Сократ прибегал и охотнее, и чаще, нежели к национальным богам.

Нечто подобное приходится сказать и относительно другого пункта обвинения. Нам, обзирающим ту эпоху глазами отдаленных потомков, которые могут судить и с большим знанием, и с большим хладнокровием, легко говорить, что Сократ ничуть не был развратителем молодого поколения: для нас это ныне истина столь непреложная, что всякое противное мнение может лишь вызвать на наших устах улыбку сожаления, и ничего больше; но не столь очевидным это казалось современникам, которым близость перспективы мешала и рассмотреть дело яснее, и обсудить его беспристрастнее. Всякий знал, конечно, что Сократ не только сам выполнял свои гражданские обязанности с редкою добросовестностью, но и требовал того же и от других: даже на свою собственную философскую деятельность он смотрел не иначе, как на служение обществу, – служение тем более высокое и ценное, что, не будучи, правда, непосредственным, оно подготовляло, однако, многочисленных граждан, которые своим умственным развитием, нравственной чистотой и высоким сознанием долга и ответственности могут оказать ему, этому обществу, громадные услуги. Тем не менее, были и другие обстоятельства, которые в значительной мере, казалось, перевешивали эти факты и придавали обвинению широкую популярность. С одной стороны, его отрицательного

отношения ко всем освященным стариною идеям и верованиям было достаточно, чтобы навлечь на него свирепую ненависть со стороны консерваторов-аристократов; и действительно, уже 24 года тому назад знаменитый Аристофан по этому самому вопросу о разращении юности выставил его в своей комедии “Облака” главою софистов и осыпал его злыми насмешками и инсинуациями. Но, с другой стороны, и для демократов, сторонников нового порядка, он не мог быть желанным пророком со своими постоянными указаниями на недостатки существующей конституции и своим пристрастием к правлению “лучших” людей. Ему не раз выставляли на вид опасность для молодых умов такого рода мнений и в виде доказательства приводили примеры двух бывших его учеников, Крития и Алкивиада, из которых первый стал во главе аристократической реакции и был одним из тридцати тиранов, а другой изменил своему отечеству и предался его врагам. Напрасно Сократ и его друзья доказывали нелепость подобного рода обвинений, утверждая, что и тот, и другой приходили к Сократу учиться не мудрости, а лишь диалектическому методу, который мог им быть полезен в прениях в народном собрании; напрасно они дальше указывали, что далеко не все ученики Сократа были Критиями и Алкивиадами, а что среди них были такие люди, как Херэфонт, – пламенный патриот и сподвижник Тразибулла: на них не обращали внимания. Общее направление Сократовых учений слишком, казалось, говорило против мудреца, чтобы единичные факты могли иметь какое-либо значение: то были скорее счастливые исключения, нежели правила, и, как таковые, их можно смело игнорировать.

Таким образом, для того века обвинения против Сократа вовсе уже не были так нелепы, как они могли бы показаться нам в настоящее время. Мы не думаем, конечно, оправдывать его обвинителей, как то пытались сделать некоторые ученые (например, Форхгаммер); мы лишь можем оплакивать несовершенство условий, при которых совершается прогресс человеческих обществ и которые часто приводят лучших людей к столь плачевным положениям.

Успеху же обвинения способствовали, главным образом, два обстоятельства. Во-первых, большинство судей были убежденные демократы, которые, вернувшись из ссылки под предводительством Тразибулла, с оружием в руках завоевали гражданскую свободу и, по низложении тридцати тиранов, восстановили прежнюю демократическую конституцию. Для таких людей человек, смеявшийся над системой выборов посредством жребия и презрительно относившийся к державному народному собранию, “как к куче фальшивых монет, даже бесконечное

количество которых нисколько не уменьшает негодности их”, казался ходячим оскорблением, – лицом, которым дорожить, несмотря на прочие его достоинства, не было большой причины. Во-вторых же, среди этих судей и их знакомых, вероятно, немало было таких, с которыми, к их полному поражению, Сократ не раз ломал копья диалектики по поводу того или другого пункта философии. Истина всегда горька, и видеть ее преподносимую с такою убийственной иронией, как то делал Сократ, было более чем оскорбительно. К тому же и бессилие, с каким человек принужден был видеть разрушение своих родных, унаследованных и вместе с молоком матери усвоенных догматов, было невыносимо. Одна внешность, одно появление Сократа сделалось многим ненавистно, и не только брань, но нередко и побои доставались мудрецу как замена аргументу, которого противник не в состоянии был придумать. Сократ в такие минуты мог спокойно замечать, что подобные инциденты столь же мало оскорбляют его, как и ляганье прохожего осла: на них даже не стоит обращать внимания; но дело приняло совсем другой оборот, когда те же противники – из софистов и других – воссели на судейскую скамью и получили в свое распоряжение самую жизнь мудреца. Тогда игнорировать их уже не было возможности, и смерть казалась неминуемой.

При всем том много еще зависело от поведения обвиняемого на суде. Искусная защита и еще более искусное воззвание к чувствам судей могли бы в значительной степени смягчить враждебное настроение последних. Пункт за пунктом разбить возводимые обвинения, подробно и красноречиво изложить свое безупречное прошлое, выставить на вид свои заслуги на войне и во время правления 30 тиранов и, что всего важнее, стараться тронуть сердца судей состраданием к его сединам и его семье, – речь такого рода, наверное, оказала бы сильное впечатление и заставила бы обвинителей умолкнуть. Сам Перикл, великий и гордый Перикл, не считал ниже своего достоинства прибегнуть к подобным приемам, когда дело шло об участии Аспазии: тем скорее мог бы решиться на это Сократ, когда вопрос шел о его собственной жизни, о благополучии его малюток и о нравственном благе его учеников. Но напрасно друзья уговаривали его к этому и даже сочиняли защитные речи: мудрец с твердостью отказывался от компромиссов, ссылаясь на то, что он всей своей жизнью готовил себе защиту. “Я человек, как и всякий другой, – говорил он своим судьям по этому поводу, – и, подобно всем смертным, состою не из камня и дерева, как выражался Гомер, а из плоти и крови, весьма чувствительных к страданиям. У меня имеется также и семья, к которой я привязан всем сердцем, – три сына, из которых один взрослый, а двое других еще малые

дети. Все же я их не приведу сюда, чтобы мольбами разжалобить ваши сердца и тем добиться оправдания... Вы спросите, почему? Поверьте, что не из гордости и не из недостатка к вам уважения и ни даже оттого, что не чувствую страха перед смертью, а просто ввиду общественного мнения, которое найдет подобное поведение с моей стороны недостойным ни меня, ни вас, ни всего афинского общества. Не только для человека в моем возрасте и с моей репутацией мудреца было бы непристойно унижаться... но и вообще, просить у судьи снисхождения и тем добиться своей свободы – в высшей степени безнравственно. Ибо обязанность судьи – не дарить справедливость, а произносить приговор: он поклялся судить согласно с законами, а не со своими личными пристрастиями. Ни мы поэтому не должны поощрять в вас подобного рода слабости, ни вы сами не должны их позволить: в противном случае получится не справедливость, а богохульство... Кроме того, о афиняне, если бы я мольбою или силою убеждения заставил вас забыть свою клятву, я этим самым учил бы вас, что богов нет, и таким образом, защищаясь от нападков в неверии, обвинил бы себя сам...”

Таким образом, Сократ не только отказывается просить у судей снисхождения, но еще и заставляет их выслушивать на этот счет такие откровенности, которые вряд ли могли прийти им по вкусу и расположить их в его пользу. Но и этого мало. Когда ему предлагают пойти на уступки и отказаться от своих убеждений и дальнейшей деятельности, Сократ гордо заявляет, что он смерти не боится: “Человек, стремящийся к идеалам, не должен думать ни о жизни, ни о смерти, а только смотреть за тем, чтобы, делая что-нибудь, он поступал честно, как подобает честному человеку”. Во-вторых же, – и это главное – его дело слишком важно, его призвание слишком высокое, чтобы от них можно было отказаться: они ниспосланы были ему самим Божеством на благо всего общества. “Я знаю, – говорит он с благородным достоинством, – я даже убежден, что ничья заслуга перед обществом не велика так, как мое повиновение велениям Божества. Я только и делаю, что хожу и убеждаю вас всех, и старого и малого, оставить всякую заботу о материальных благах и сосредоточиться преимущественно на совершенствовании своей души. Добродетель, я говорю вам, за деньги не покупается, но за нею следуют и деньги, и прочие земные блага, общественные и личные”. При таких условиях отречься от деятельности разве не было бы равносильно измене отечеству? “Каков бы ни был пост, занимаемый человеком, – избрал ли последний его сам или он был назначен на него начальством, – этот человек должен оставаться там в минуту опасности и не думать ни о смерти, ни о чем другом, кроме как о

бесчестии... Как странно было бы поэтому, о афиняне, если бы я, который под Потидеей, Амфиполисом и Делием стоял на своем посту, по приказу выбранных вами полководцев, не страшась наравне с другими встретить смерть лицом к лицу, – теперь вдруг из страха перед смертью и другим подобным покинул бы свой пост, свою философскую миссию, ниспосланную мне Божеством на благо свое и других! Да, граждане, это было бы странно, и вы действительно имели бы тогда право привлечь меня к ответственности за отрицание богов, – за то, что из столь мелочных расчетов я отказался повиноваться Божеству...”

Такая постановка вопроса решает все дело: всякая уступка и сделка с совестью была бы глубоко безнравственна. Компромисс невозможен, – и “я глубоко почитаю и уважаю вас, афиняне, но я скорее стану повиноваться оракулу, нежели вам, и покуда у меня хватит сил и станет жизни, я не перестану преподавать философию и поступать, как я считаю нужным”. Этим было все сказано, – с той благородной откровенностью и пламенной глубиной чувства, на какие способны лишь люди, беззаветно верующие в бессмертную правоту своего дела. Сократово дело – общественная служба, “и, если вы меня убьете, вы не скоро найдете другого подобного мне”.

Эти заявления показали раздраженным судьям верхом самоуверенности и наглости, и большинством – 280 против 220 – голосов великий мудрец был признан виновным по обоим пунктам обвинения. Оставалось определить наказание. По афинскому закону суд в этом не имел собственного голоса, а должен был выбирать между наказанием, предлагаемым обвинителем, и тем, которое назначает себе подсудимый сам, а так как Мелит и его товарищи требовали смертной казни, то теперь очередь была за Сократом. В подобных случаях было принято, чтоб и подсудимый предложил наказание, хотя и более легкое, нежели то, на котором настаивает противная сторона, но все же достаточно серьезное, чтобы суд мог на него согласиться. В данном же случае самое благоразумное было бы предложить изгнание, – весьма суровое наказание, на котором суд, после некоторых размышлений, вероятно, остановился бы из внимания к сединам Сократа и его заслугам в прошлом. Сами друзья Сократа, ни на минуту не покидавшие его во все время процесса, настаивали, по-видимому, на этом, но мудрец упорно отказывался. Он согласен скорее умереть, нежели скитаться на старости лет по чужим странам, среди чуждой обстановки и незнакомых людей. Ему придется влачить свою жалкую жизнь под вечным страхом подобного же процесса, ибо кто может поручиться, что, продолжая свою деятельность и в изгнании, он и там не вызовет такой же ненависти, как и здесь, в Афинах? Ему опять

будут угрожать процесс и смерть, и ему вновь придется бежать, чтобы начать свои приключения сызнова. К тому же, при его сознании не только своей невинности, но даже заслуг перед обществом, как может он назначать себе наказание вообще, и еще такое суровое, как изгнание, в особенности? Не будет ли это с его стороны косвенным признанием своей виновности? “Что же, о афиняне, могу я предложить? Не то ли, что мне следует по заслугам? Я проработал всю свою жизнь, не зная усталости и не заботясь ни о чем, что так занимает умы прочих людей, – ни о богатствах, ни о семье, ни о военных почестях, ни о гражданских должностях, ни о народных собраниях, ни о партиях. Что же мне следует за это? Что полагается человеку бедному, почти нищему, но общественному благодетелю, который нуждается в обеспеченном – материально – досуге, чтобы продолжать свою благотворную деятельность?” И Сократ без иронии, совершенно серьезно и искренне приходит к заключению, что ввиду великих его заслуг самой достойной для него участью было бы... содержание на общественный счет в Пританее на всю его остальную жизнь!

Такая неслыханная, вопиющая дерзость должна была окончательно взорвать судей; да и сами друзья философа, несмотря на все чувство восторженного удивления к такому поразительному нравственному величию, должны были вместе с тем признать безрассудство этих слов и, то упрекая, то умоляя, настаивать на том, чтобы он не шел навстречу своей собственной гибели и предложил бы хоть какой-нибудь штраф. Сократ уступил, но так как он – человек бедный, то какой штраф может он предложить? Пожалуй, ему удастся собрать мину, и эту сумму он готов назначить в качестве штрафа, “но, впрочем, Платон, Критон, Критобул, Аполлодор и другие мои друзья готовы поручиться за меня на сумму в 30 мин. Этот штраф, в 30 мин, я и предлагаю себе в наказание”.

Но ярость судей не знала уже пределов и даже такая крупная пеня казалась смешною и оскорбительною: увеличенным против прежнего большинством в 320 голосов против 180 произнесен был роковой приговор: ввиду доказанной виновности Сократа в возводимых преступлениях, – а еще больше, быть может, ввиду оскорбительного поведения его на суде, – мудрец должен умереть через отравление. Осужденный покорно склонил свою голову перед решением суда и, после некоторого молчания, произнес свое последнее слово. Он мягко упрекнул судей за то, что они не могли подождать, пока он, преклонный старик, чьи дни уже все равно были сочтены, умрет естественной смертью, и предсказывал им, что потомство осудит их за эту излишнюю поспешность еще больше, чем за самый суд.

Для него же умереть ничего не значит: зло не может коснуться честного человека ни при его жизни, ни после его смерти. Он прощает поэтому своих судей, которые ему лично не причинили никакого зла, хотя и не имели в виду его блага. Он, однако, имеет одну, единственную и последнюю просьбу к ним: если его дети вырастут и будут больше заботиться о богатстве и других земных благах, чем о добродетели, или будут равнодушны к тому, чем надлежит интересоваться, и возымеют о себе более высокое мнение, нежели они имеют на то право, то он умоляет суд поступать с ними так, как он поступал бы с ними сам. “Итак, – заключает он словами, дышащими глубоким раздумьем, – час разлуки настал: мы расходимся; я – чтоб умереть, а вы – чтобы жить; но что лучше, – знает один лишь Бог”.

Сократу не суждено было умереть на следующий же день, как это полагалось: корабль, который афиняне ежегодно отправляли в Делос на праздник Аполлона, только что отплыл, а в его отсутствие не могла состояться никакая смертная казнь. Сократу пришлось в ожидании своей скорбной участи просидеть в темнице с оковами на ногах целых тридцать дней, но, к счастью, он имел возможность ежедневно видеть своих родных и учеников и беседовать с ними по-прежнему. Говорят, что за несколько дней до его смерти в темницу к нему пришел богатый Критон, один из наиболее преданных Сократу учеников, и предложил ему бежать, сообщая, что он подкупил тюремщика и что их ждет корабль, готовый к немедленному отплытию в Фессалию. Но Сократ отказался из уважения к законам, и Платон излагает в одном из своих диалогов в “Критоне” разговор, который мудрец имел по этому поводу со своим учеником и другом. Правда, ввиду того, что обо всем этом не упоминает ни один из других известных нам древних писателей, есть сильное основание думать, что разговор, равно как и весь инцидент, поведший к нему, был просто вымышлен Платоном с целью опровергнуть господствовавшее мнение о недостатке лояльности Сократа; все же личность последнего так ярко вырисовывается в этом разговоре и аргументы, которые Платон влагает ему в уста, столь характерны и психологически верны, что ценность диалога как документа мало чем уменьшается от сомнительной его достоверности. Выслушав доводы Критона относительно того, что мудрец не имеет права умереть, когда у него есть возможность жить на благо свое и своих учеников и родных, и что “никто не имеет права произвести на свет детей, кто не имеет в виду вскормить их и воспитать”, Сократ в виде аргумента просит Критона вообразить, что бы такое могли сказать им законы государства, если бы, воплощенные в плоть и кровь, они явились к ним в

темницу и подслушали их речи. Они прежде всего сказали бы, что ни одно государство не в состоянии долго продержаться, когда отдельные его члены попирают его законы ногами, и что такое попираание тем более несправедливо и непозволительно, что оно совершенно незаслуженно. Ибо что, в самом деле, дурного сделали они, законы, Сократу, например? Отец его женился и произвел его на свет под сенью законов, он вырос и воспитался под их защитой, и он был ими же обучен гимнастике и музыке. Им, в сущности, он обязан большим, нежели родному отцу и матери, и если чудовищно оскорблять словом или действием последних, то во сколько раз чудовищнее было бы оскорблять их, законы! И он, Сократ, учитель нравственности, который непрестанно твердил о необходимости чтить родителей как о священнейшем долге и величайшей добродетели, мог бы решиться попрасть законы, отказать им в повиновении и уважении и тем явить собою пример неблагодарного сына, в ком все святое и благородное уснуло навеки? Но еще больше: вскормив его и воспитав, одарив его всеми неисчислимыми благами, какие только они в состоянии были ему дать, они, законы, ничуть не удерживали его в своей стране; напротив, как и всякому другому гражданину, достигшему совершеннолетия, они предоставляли ему полное право уйти от них со всей своей семьей и имуществом. Законы ведь никого не удерживают: кому они не нравятся, тот может уходить, а если остается, то показывает, что доволен ими и готов слушаться их во всем. Это как бы добровольное соглашение, договор, в который каждый гражданин вступает по достижении зрелости: он не формален, но, тем не менее, действителен и основывается на том факте, что гражданин остается в стране и пользуется благами ее законов. Сократ же прожил на белом свете 70 лет и, следовательно, имел достаточно времени обдумать, нравятся ли ему порядки его родины или нет; но тем самым, что он остался жить в Афинах, пребывая там все долгое время своей жизни почти безвыездно и не интересуясь ничем, что происходило в других городах, он показал, что любит свою страну и соглашается уважать ее законы, образ правления, нравы и обычаи. Мало того, он обзавелся даже семьей и прижил детей, и, когда недавно, на суде, ему предлагали назначить себе изгнание, он отказался, тем самым отказываясь от последней возможности с честью уклониться от заключенного договора. Как глубоко безнравственно, как позорно было бы поэтому, если бы Сократ теперь отверг договор, который он сам добровольно заключил и которому он следовал всю свою жизнь! Сколько бесстыдства нужно было бы на то, чтоб, нарушив этот контракт, он, Сократ, стал потом опять проповедовать добродетель, справедливость и повиновение законам! “Таков, дорогой мой Критон, – заключает Сократ, –

таков голос, звучащий у меня в ушах подобно звуку флейты, раздающемуся в ушах священнодействующего в таинствах. Этот голос звучит немолчно, не давая мне расслышать чей-либо другой, и я знаю, что все, что бы ты ни сказал, будет напрасно. Все же говори, если знаешь, что”. “Ничего я не могу сказать больше, Сократ, – тихо промолвил опечаленный ученик. “Так иди же с миром, Критон, и дай мне исполнить волю Божества и идти, куда оно велит”.

События последнего дня из жизни Сократа изложены Платоном в другом его диалоге “Федоне”. Сам автор по болезни не присутствовал при кончине своего учителя, и рассказ ведется от имени Федона, любимейшего ученика Сократа; тем не менее, общая достоверность передаваемых событий не подлежит сомнению. В этот день, рано утром, собрались в его келье его друзья и нашли его уже без цепей и в обществе Ксантиппы и всей семьи. Увидав их, Сократ выслал жену и детей и сам остался наедине со своими учениками, чтобы побеседовать с ними в последний раз. Бесед этих в точности мы не знаем: мы не можем принять за подлинные те, которые передает нам Платон; тем не менее, несомненно, что они вертелись вокруг вопросов о душе, ее бессмертии, о гробе, о жизни за ним и т. д. Лица Сократовых учеников были чрезвычайно грустны, глаза их не раз заволакивались слезами, и из груди то и дело вырывались глубокие вздохи. Сократ же, играя кудрями Федона, ласково и нежно, как мать, утешал их, указывая на неосновательность горя их и говоря о необходимости умереть так или иначе. С той же силой диалектики, но, быть может, с большей мягкостью в тоне, аргументировал он о вероятности загробной жизни и так, как и прежде, пересыпал свои доказательства шутками, притчами и стихами из любимых поэтов. Когда же солнце стало клониться к закату и роковой час был уже близок, Сократ удалился в соседнюю келью и принял ванну, после чего велел позвать жену и сыновей. Дав им необходимые наставления и ласково простившись, он поручил заботу о них Критону и отослал их, не желая, чтобы они присутствовали при его кончине и испытали лишние страдания. Вскоре вошел в келью и тюремщик со скорбной чашей в руках; он попросил Сократа простить его за печальную, хотя и невольную обязанность, которую ему приходится исполнять, выразил всю ту безграничную любовь, которую мудрец успел ему внушить за это короткое время, и, дав надлежащие наставления, простился с ним, еле удерживаясь от слез. Сократ взял чашу цикуты из его рук и, свершив молитву богам, спокойно, без волнения выпил ее. До сих пор ученики его крепились, но тут они не выдержали: Федон залился слезами и, закрыв голову хитомом, в отчаянии отвернулся к стене, а молодой Аполлотор,

который весь день не переставал тихо плакать, разрыдался тут страстным судорожным воплем. Даже старик Критон не мог удержаться и горько заплакал. Один Сократ сохранил обычное свое самообладание и нежными упреками и увещаниями заставил их наконец замолкнуть. После этого, согласно наставлениям тюремщика, Сократ принялся ходить по комнате, пока не почувствовал тяжести в ногах. Он слег на кровать, а тюремщик время от времени подходил к нему, ощупывая ему ноги и спрашивая, чувствует ли он. Яд действовал, начиная с конечностей, и по тому, как нечувствительность распространялась все выше и выше по телу, можно было судить о постепенном угасании жизненных функций организма. Аполлодор пробовал здесь предложить дорогому учителю роскошную мантию с целью подостлать и на ней прилично испустить последний вздох, но Сократ только улыбнулся, спросив, неужели он думает, что его собственная одежда, годившаяся ему в жизни, не может годиться ему и в час смерти? Меж тем холод и окоченелость распространились постепенно по всему телу, и, когда дошли до поясницы, Сократ, обратившись к Критону, попросил его не забыть принести Эскулапу в жертву петуха, – в знак исцеления. Критон обещал, но, когда он спросил, может быть, ему еще чего-нибудь надо, ответа уже не последовало. Сократ только вздрогнул и вытянулся. Все было кончено, и Критон закрыл глаза дорогому покойнику.

Так скончался Сократ – один из удивительнейших людей, какого когда-либо знало человечество. Лаэртций передает, что афиняне вскоре после его смерти раскаялись, поставили ему бронзовую статую и жестоко наказали его обвинителей. Это маловероятно, так как Ксенофонт нашел нужным, спустя шесть лет после кончины Сократа, написать апологетические “Воспоминания” о нем. Быть может, Лаэртций был движим тем естественным и благородным чувством, для которого признание, хотя бы и позднее, заслуг любимого человека все же является некоторым утешением в потере. Но Сократ в подобной реабилитации не нуждается: память о нем не умерла вместе с ним, и нравственный облик его навеки остался достоянием человечества как прекрасный, недостижимый идеал.

ИСТОЧНИКИ:

1. Ксенофонт. Memorabilia. – Paris, 1838, ed. Didot.^[8]
2. Платон. Apologia, Phaedo, Crito, в Opera. – Paris, 1856, ed. Didot, т. 1, rec. Hirschig.
3. Диоген Лаэртский. Vitae Philosophorum. – Paris, 1840, ed. Didot, recog. Cobet, кн. 2, гл. 5.
4. Дж. Грот. A History of Greece. – London, 1872, 4-е изд., т. 7, га. 67, 68.^[9]
5. Дж. Г. Льюис. The History of Philosophy. – London, 1871, 4-е изд., т. 1, с. 106–177.^[10]
6. Ф. Обервег-Гейнце. Grundriss der Geschichte der Philosophie. – Berlin, 1880, th. 1, §§ 26–33.^[11]
7. Э. Целлер. Die Philosophie der Griechen. – Leipzig, 1876–1882, 4-е изд., th. 2, с. 42–196.
8. Lasaulx. Des Socrates Leben. – München, 1857.
9. А. Fouillée. La Philosophie de Socrates. – Paris, 1874, t. 2.

notes

Примечания

1

с кафедры (*лат.*), в порядке поучения; обычно иронически, о манере высказываний, претендующих на непререкаемость.

2

по преимуществу (*франц.*).

3

просвещения (нем.).

4

самих по себе (нем.).

5

остряки, острословы (фр.).

буря и натиск (нем.).

7

непременного условия (*лат.*).

Издан русский перевод.

Издан русский перевод.

Сочинения, отмеченные звездочкой, имеются и в русском переводе.

Издан русский перевод.